

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН

Власть и элиты

Power and elites

Том 7
Выпуск 2

Санкт-Петербург
2020

УДК 32
ББК 66.0
В 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А.В. Дука, к.пол.н., главный редактор
А.В. Быстрова, к.э.н.
В.В. Козловский, д.филол.н.
Д.Б. Тев, к.с.н.
А.М. Флягин, ответственный секретарь

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.А. Ачкасов (С.-Петербург, Россия)
О.В. Гаман-Голутвина (Москва, Россия)
В.А. Гуторов (С.-Петербург, Россия)
А.А. Зоткин (Симферополь, Россия)
Н.Ю. Лапина (Москва, Россия)
В.Г. Ледяев (Москва, Россия)
О.Ю. Малинова (Москва, Россия)
В.П. Мохов (Пермь, Россия)
П.В. Панов (Пермь, Россия)
И. Панькув (Краков, Польша)
У. Хоффманн-Ланге (Бамберг, Германия)
А.Е. Чирикова (Москва, Россия)

EDITOR

A. Duka, Dr., St. Petersburg

ASSISTANT EDITOR

A. Flyagin, St. Petersburg

EXECUTIVE BOARD

A. Bystrova, Dr., St. Petersburg
V. Kozlovskiy, Dr., Prof, St. Petersburg
D. Tev, Dr., St. Petersburg

EDITORIAL BOARD

V. Achkasov (St. Petersburg, Russia)
A. Chirikova (Moscow, Russia)
O. Gaman-Golutvina (Moscow, Russia)
V. Gutorov (St. Petersburg, Russia)
U. Hoffmann-Lange (Bamberg, Germany)
N. Lapina (Moscow, Russia)
V. Ledyayev (Moscow, Russia)
O. Malinova (Moscow, Russia)
V. Mohov (Perm, Russia)
I. Pańków (Warszawa, Poland)
P. Panov (Perm, Russia)
A. Zotkin (Simferopol, Russia)

Научное периодическое издание «Власть и элиты» выходит с 2014 года.
Включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

СОДЕРЖАНИЕ

Европейские правые: элиты и избиратели

- Масловский М.В.* Интерпретации модерности и консервативные политические элиты в Центральной и Восточной Европе 5
- Сафронов В.В.* Избиратели радикальных правых партий в Европе: социальная демография, политические аттитюды, национализм 22

Политический дискурс и социальные смыслы

- Ачкасов В.А.* Понятие «народ» в политическом дискурсе элит 64
- Завершинский К.Ф.* «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти 77
- Дука А.В.* От какого наследства отказываются российские элиты (эволюция смысла Великой Отечественной войны во властном дискурсе) 97
- Римский В.Л.* Архаика в обеспечении справедливости в России 129

Эволюция власти: основания и будущее либерального порядка

- Соловьев А.И.* «Системные» последствия и эффекты сетевого правления 153
- Гуторов В.А.* К вопросу об элитарных основаниях либеральных демократий (критические заметки на книгу: Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.) 176

- Сведения об авторах** 192

CONTENTS

European Right: Elites and Voters

- M. Maslovskiy.* Interpretations of modernity and the conservative political elites in Central Eastern Europe. 5
- V. Safronov.* Voters of radical right parties in Europe: socio-demographics, political attitudes, nationalism 22

Political discourse and social meanings

- V. Achkasov.* The concept of “people” in the political discourse of elites 64
- K. Zavershinskiy.* “Elite patriotism” as a discursive dimension of the symbolic structures of the national memory. 77
- A. Duka.* What inheritance do Russian elites refuse? (evolution of the meaning of the Great Patriotic War in the power discourse) 97
- V Rimskiy.* Archaism in ensuring fairness in Russia 129

The evolution of power: the foundations and future of the liberal order

- A. Solovyev.* “System” consequences and effects of network governance 153
- V. Gutorov.* On the question of the elite foundations of liberal democracies (critical notes on the book: Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.) 176

- Contributors** 193

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВЫЕ: ЭЛИТЫ И ИЗБИРАТЕЛИ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОДЕРНОСТИ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

М.В. Масловский

(*maslovski@mail.ru*)

*Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН,
Санкт-Петербург, Россия*

Цитирование: Масловский М.В. Интерпретации модерности и консервативные политические элиты в Центральной и Восточной Европе // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 5–21.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.1>

Аннотация. *Исследования политических трансформаций в Центральной и Восточной Европе опирались на различные цивилизационные подходы и на ранние версии теории модернизации, предполагавшие плавный переход к демократическим политическим институтам. Однако данные подходы сталкивались с трудностями в тех случаях, когда процесс демократизации обращался вспять. В частности, в 2010-е годы пришедшие к власти в Венгрии и Польше право-популистские партии предприняли ряд шагов в направлении «нелиберальной демократии». Как показано в статье, понятия чередующихся модерностей и интерпретации модерности являются релевантными для анализа политических процессов в странах Центральной и Восточной Европы. Эти понятия позволяют учитывать многообразие форм исторического наследия и избирательное использование такого наследия политическими элитами. В настоящее время консервативные элиты в Венгрии и Польше предлагают собственную интерпретацию различных периодов истории этих стран, коммунистической версии модерности и посткоммунистических трансформаций.*

Ключевые слова: *чередующиеся модерности, политическая элита, консерватизм, правый популизм, Венгрия, Польша.*

ВВЕДЕНИЕ

Становление «нелиберальной демократии» в Венгрии и Польше после прихода к власти в этих странах право-популистских партий стало неожиданностью не только для политических деятелей других государств Евросоюза, но и для большинства исследователей, занимающихся изучением политических процессов в Центральной и Восточной Европе. При этом неоднократно отмечалось, что социологические и политологические подходы, выделяющие показатели социально-экономического развития и структурные факторы политических изменений, оказываются не в состоянии объяснить недавние тенденции в странах этого региона. Характерно, что в ряде новейших исследований делается акцент на роли политических проектов правого популизма и подчеркивается, что такие проекты не могут быть адекватно поняты без обращения к лежащим в их основании консервативным идеям и ценностям [Blokker 2019; Bluhm, Varga 2019].

В сложившейся ситуации существует потребность использовать более широкий спектр подходов к проблематике посткоммунистических трансформаций. Одним из перспективных теоретических направлений в данном случае, по-видимому, является концепция чередующихся модерностей (alternating modernities). Последовательную смену различных типов современного общества рассматривает на примере западных государств П. Вагнер [Wagner 2010]. Применительно к Центральной и Восточной Европе концепцию чередующихся модерностей развивает Й. Арнасон [Arnason 2005]. Он не просто характеризует страны этого региона как часть западной цивилизации, вернувшуюся к «нормальности» после аномалий коммунистического периода, но и выделяет последовательность из нескольких типов современного общества, каждый из которых связан со спецификой региона.

Наряду с этим следует обратиться к понятию интерпретации модерности. П. Вагнер рассматривает историю ряда стран Западной Европы и Латинской Америки как чередование интерпретаций современного общества, отличающихся региональным разнообразием и опирающихся на более ранний опыт столкновения с модерностью [Wagner 2015]. Такого рода интерпретации могут направляться существующими политическими элитами, но Вагнер не осознает в полной мере возможных масштабов дедемократизации, осуществляемой этими элитами. Тем не менее сама идея столкновения интерпретаций модерности и пред-

ложенные этим социологом принципы их анализа заслуживают серьезного внимания. В частности, данный подход использовался для характеристики цивилизационного дискурса российской политической элиты [Масловский 2019]. По-видимому, он вполне применим и в случае поворота к «нелиберальной демократии» в странах Центральной и Восточной Европы.

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИЯ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ МОДЕРНОСТЕЙ

Посткоммунистические трансформации в Центральной и Восточной Европе неоднократно рассматривались с позиций цивилизационных подходов. Характеризуя ситуацию в странах этого региона, сложившуюся к началу 1990-х годов, П. Штомпка говорил об их «цивилизационной недостаточности». Образцом цивилизованности выступали для него государства Запада, на которые восточно-европейским странам следовало равняться [Sztompka 1993]. В дальнейшем отмечалось, что посткоммунистические трансформации выступают как часть «длительного исторического процесса демократизации и модернизации на Европейском континенте, временным отклонением от которого было коммунистическое правление. Это в особенности относится к странам Центральной и Восточной Европы, которые исторически тяготели к западному ядру континента» [Ekiert 2015: 332]. При этом делался акцент на «выходящих за рамки национальных границ регионах и более широких “цивилизационных” идентичностях на макроуровне» [Ekiert 2015: 335].

В отечественной социологии значение цивилизационного подхода для исследований социальных трансформаций в России и странах Восточной Европы подчеркивал О.И. Шкаратан. С его точки зрения, многообразие траекторий общественного развития в конечном итоге сводится к различию между двумя типами цивилизации: европейским и азиатским. Если для европейского типа характерно существование частной собственности, баланса интересов между гражданским обществом и государством и приоритета индивидуалистических ценностей, то азиатский тип отличает преобладание государственной собственности, всемогущество институтов государственной власти при факти-

ческом отсутствии гражданского общества, а также преобладание общинных ценностей [Шкаратан 2010: 26].

Сравнивая Россию с посткоммунистическими странами Центральной и Восточной Европы, Шкаратан подчеркивал, что Россия образовывала ядро системы «этакратизма», тогда как западная периферия советского блока отчасти сохраняла европейские институты и ценности и в коммунистический период [Шкаратан 2010: 31]. По его мнению, в обоих случаях цивилизационное наследие сыграло значимую роль в ходе посткоммунистических трансформаций. Как указывает Шкаратан, если страны Центральной и Восточной Европы смогли в значительной мере преодолеть наследие этакратизма, то в России этот социальный строй был трансформирован лишь частично, причем не произошло решительного поворота к частной собственности, гражданскому обществу и демократическим политическим институтам.

Однако с позиций данной версии цивилизационного подхода не представляется возможным объяснить недавние тенденции в общественно-политической жизни восточно-европейских стран, прежде всего Венгрии и Польши. Казалось бы, западное цивилизационное наследие должно было определять основной вектор их развития. Еще в начале 1990-х годов Венгрия и Польша лидировали в процессе демократизации в Центральной и Восточной Европе. Тем не менее именно эти страны оказались в авангарде консервативного поворота в регионе через два десятилетия. Приход к власти партии Фидес в Венгрии в 2010 г. и партии «Право и справедливость» в Польше в 2015 г. ознаменовал радикальные изменения в политической жизни обеих стран. Оказавшись у руля государственной власти, правые популисты предприняли целый ряд вполне «этакратистских» шагов, направленных на ограничение независимости судебной системы и средств массовой информации, а также влияния неправительственных организаций.

По сравнению с цивилизационным подходом в изложении Штомпки и Шкаратана более адекватным средством анализа возрождения антилиберальных тенденций в Центральной и Восточной Европе, по видимому, выступает концепция чередующихся модерностей. По мнению Й. Арнасона, понятие чередующихся модерностей наиболее релевантно для описания опыта стран, проходящих через несколько форм модерности, особенно в тех случаях, когда эта последовательность в значительной мере формируется внешними геополитическими и идеологическими факторами. Он обращается в данной связи к историческому

опыту Чехословакии. В конце XIX в. Чехия была одним из модернизирующихся центров Габсбургской империи, тогда как Словакия в венгерской части империи развивалась более медленными темпами. После Первой мировой войны обе страны стали частями Чехословацкой республики, которая с 1919 по 1938 г. фактически была многонациональным государством с конституционным демократическим правлением.

За нацистской оккупацией страны последовал непродолжительный этап крайне ограниченной демократии, а после него наступил период насаждения советской модели модерности. Как подчеркивает Арнасон, Чехословакия была наиболее развитой страной, попавшей под коммунистическое правление. Последующая социальная трансформация сопровождалась формированием жесткой и полностью зависимой от центра версией советской модели. Возникший в результате этого кризис породил проект реформирования коммунизма, который был подавлен внешними силами. В дальнейшем «восстановление режима, не обладавшего легитимностью, привело к социальному и культурному параличу. Но, несмотря на это, оказался возможным особенно быстрый и плавный выход из коммунизма, когда изменились геополитические условия и псевдореалистическая утопия возврата к “нормальным” западным формам модерна на некоторое время стала казаться более правдоподобной, чем где-либо еще в посткоммунистическом мире» [Арнасон 2011: 27].

Последовательная смена различных форм модерности в Центральной и Восточной Европе анализировалась П. Блоккером. Как указывает этот исследователь, в данном регионе существовало многообразие соперничавших и сменявших друг друга версий модерности [Блоккер 2009]. При этом можно выделить чередовавшиеся тенденции к большей открытости либо закрытости по отношению к западной либеральной модерности. Если тенденция к открытости проявилась в попытках создания более свободного общества, то противоположная тенденция была реализована в наиболее радикальном виде в фашистских и коммунистических проектах модерности. В 1920-е и 1930-е годы в регионе получила распространение тенденция к закрытости, выступавшая как проявление общеевропейского кризиса либерализма. Эта тенденция присутствовала в большей или меньшей степени во всех восточноевропейских странах, хотя в Чехословакии в указанный период сохранилась приверженность конституционно-демократическому устройству государства.

Блоккер разделяет точку зрения, согласно которой установление в странах региона коммунистических режимов после окончания Второй

мировой войны означало попытку создания альтернативной версии модерности. Вместе с тем он приходит к выводу, что перенос советской модели в Центральную и Восточную Европу отчасти ослабил тенденцию к закрытости коммунистической системы. В Венгрии, Польше и Чехословакии продолжали существовать традиции, противостоявшие коммунистической идеологии. В Албании и Румынии возникли отклонения от советского проекта, связанные с большей степенью изоляционизма. В данном случае произошло усиление закрытости по отношению к изначальной модели коммунистической модерности. В целом для анализа исторических процессов в Центральной и Восточной Европе следует учитывать как цивилизационные основания, так и различные траектории модернизации и типы модерности [Delanty 2019: 242].

Концепция множественных модерностей может быть использована для изучения не только обществ советского типа, но и посткоммунистических трансформаций [Масловская, Масловский 2020]. Исследования этих процессов нередко опирались на ранние версии теории модернизации, предполагавшие плавный переход к рыночной экономике и демократическим политическим институтам. Однако такой подход сталкивался с трудностями в тех случаях, когда происходил откат в экономической и политической либерализации [Spohn 2011: 32]. В данной связи отмечалось, что региональные особенности формирования и кризиса коммунистической системы наложили отпечаток на трансформационные процессы в восточноевропейских обществах после ее распада. В 2010-е годы в этом регионе сформировались политические проекты, явно противоречившие установкам диссидентских движений 1970-х и 1980-х годов [Blokker 2013: 40]. Прежде всего в Венгрии и Польше наблюдалось возрождение национализма и усиление тенденции к политической закрытости.

Одной из наиболее дискуссионных сегодня является проблема влияния различных форм исторического наследия на социально-политические процессы в странах Центральной и Восточной Европы. Как отмечают, в частности, С. Коткин и М. Бейсинджер, не следует безоговорочно принимать тезис о сохраняющемся воздействии исторического опыта коммунизма на траектории развития посткоммунистических стран. С точки зрения этих исследователей, в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность влияния как наследия более раннего периода, так и новых факторов, возникших уже после крушения коммунистической системы. При этом коммунистический опыт «не

является единственным значимым историческим опытом, оставившим свое наследие, и могут сохраняться разнообразные виды наследия, в том числе предшествовавшие коммунизму» [Kotkin, Beissinger 2014: 7].

Несмотря на то что исторический опыт реального социализма по-прежнему имеет значение, подобно колониальному прошлому для развивающихся стран, следует ожидать, что его влияние «будет постепенно уменьшаться во многих сферах жизни по мере возникновения новых факторов, формирующих траектории развития» [Kotkin, Beissinger 2014: 2]. Кроме того, темпы изменений в некоторых странах бывшего советского блока за последние десятилетия были столь быстрыми, что использование терминов «постсоциализм» или «посткоммунизм» кажется все более проблематичным [Müller 2019]. Примером влияния как различных форм исторического наследия, так и новых идеологических тенденций служит сегодняшняя политическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОДЕРНОСТИ В КОНСЕРВАТИВНОМ ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ ВЕНГРИИ И ПОЛЬШИ

Правящие элиты Венгрии и Польши выступают сегодня ведущими акторами политики правого популизма в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время расстановка социальных и политических сил в этих странах отличается. В Польше более значимым является религиозно-консервативное измерение при существенной роли католической церкви, а в структуре гражданского общества широко представлены как консервативные, так и антипопулистские либеральные силы. В отличие от этого, в Венгрии более выражен элемент этнического национализма, а роль религиозного фактора не столь значительна, тогда как антипопулистские течения в гражданском обществе недостаточно влиятельны [Blokker 2019: 524]. Польских и венгерских консерваторов объединяет приверженность идее сильного государства, способного отстаивать национальные интересы. При этом, особенно в идеологии партии «Право и справедливость», делается акцент на «консервативной модернизации», призванной преодолеть зависимое положение польской экономики в Евросоюзе [Jasiecki 2019].

Отмечалось, что расхождение демократии и либерализма в Центральной и Восточной Европе во многом обусловлено противоречием между политическим и экономическим либерализмом. По мнению

Ж. Рупника, «триумф экономического либерализма четверть века назад подготовил почву для сегодняшнего политического антилиберализма» [Rupnik 2018: 33]. Сторонники правого популизма часто отождествляют либерализм с неолиберальными взглядами на роль рыночных механизмов, а также с космополитическим подходом к процессам европейской интеграции. «Либерализму» в таком случае противопоставляются национальные традиции соответствующей страны, а также подвергается критике доминирующая роль либеральной идеологии в политических и экономических трансформациях посткоммунистического периода.

При анализе причин распространения нелиберальных идеологических установок в Центральной и Восточной Европе нередко указывалось на недостаточную институционализацию политических партий и слабую легитимность партийных систем [Powell, Tucker 2014]. Кроме того, в качестве одной из таких причин рассматривалось недовольство широких слоев населения политическими элитами, которые воспринимались как в значительной степени коррумпированные. Однако в таком случае консервативные тенденции должны были быть выражены скорее в Румынии и Болгарии, чем в Венгрии и Польше. В целом подходы, сфокусированные на слабой институционализации партийных систем, не учитывают в достаточной степени различия между странами региона [Bluhm, Varga 2019: 4–5].

В то же время в последние годы исследователи стали уделять больше внимания влиянию структур гражданского общества и социальных движений на распространение консервативных тенденций [Saxonberg 2016]. В Венгрии и Польше консервативно настроенные интеллектуалы и группы гражданского общества формировались с начала 1990-х годов. В дальнейшем они радикализировались и превратились во влиятельные силы, способные мобилизовать широкую общественную поддержку популистским партиям. С точки зрения П. Блоккера, различные формы правого популизма следует характеризовать как «особые политические проекты, мобилизующие антилиберальные, консервативные силы в обществе, рассматривая популистскую риторику и практику как попытки демонтировать либеральные конституционные институты» [Blokker 2019: 521].

Ряд исследователей отмечают упадок влияния бывших диссидентов — представителей первой волны либерализма в странах Центральной и Восточной Европы. Если в 1989 г. они вышли на авансцену политической жизни, то в дальнейшем оказались не в состоянии создать

жизнеспособные политические партии. Характерно, что единственная основанная бывшими диссидентами партия, которая добилась электорального успеха, — это Фидес, возглавляемая В. Орбаном. Но этот успех был достигнут после ее трансформации в консервативную партию, продвигающую идею «нелиберальной демократии» [Rupnik 2018: 32].

Некоторые комментаторы характеризовали правых популистов в Венгрии и Польше как беспринципных политиков, озабоченных прежде всего собственными властными интересами. В частности, при анализе «мафиозного посткоммунистического государства», сложившегося в Венгрии, делался акцент на инструментальном использовании идеологических лозунгов ради достижения преимущественно экономических интересов [Мадьяр 2016]. Вместе с тем отмечалось, что политика партий Фидес и «Право и справедливость» опирается на определенный идеологический фундамент. Так, по мнению И. Крастева, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский «не является оппортунистом, стремящимся уловить настроение масс и двигаться вдоль установленных Евросоюзом красных линий, стараясь не пересекать их. Вместо этого он выступает как подлинный идеолог» [Krastev 2016: 89]. Хотя консервативные идеи не являются единственным фактором, определяющим политику правого популизма в странах Центральной и Восточной Европы, необходимо обратиться к идеям и ценностям, лежащим в основании популистских политических проектов. В данном случае интеллектуалы и политические деятели «целенаправленно заново изобретают консерватизм и пытаются определять политическую повестку» [Bluhm, Varga 2019: 2].

Подчеркивалось, что ключевым пунктом, вокруг которого формировался нелиберальный консерватизм в Польше и Венгрии, являлась «защита католической церкви и значения христианских ценностей для соответствующих обществ» [Bluhm, Varga 2019: 7]. При этом, в частности, партию «Право и справедливость» нельзя классифицировать «как классическое христианско-демократическое движение. Для нее более важна историческая роль церкви как защитницы национального суверенитета Польши и как института, имеющего значительный вес в современном польском обществе» [Мещеряков 2014: 258]. В целом религиозные организации сыграли значительную роль в консервативном повороте в странах Центральной и Восточной Европы. Данная тенденция оказалась прямо противоположна той, которая действовала в ходе «третьей волны» демократизации в 1970–1980-е годы, когда ка-

толическая церковь выступала в качестве демократической силы [Casanova 2011].

Один из основных вопросов, вокруг которых группировались консервативные идеологические течения в Венгрии и Польше, касался отношения к коммунистическому прошлому. В рамках консервативного идеологического поворота использовались элементы антикоммунистического дискурса начала 1990-х годов. При этом объектом критики становились не только те, кто ассоциировался с коммунистическим прошлым, но и бывшие диссиденты, считавшие, что борьба с наследием коммунизма уже не является приоритетной задачей. В то же время провозглашаемой целью консервативных политических сил в регионе становится все более последовательное дистанцирование от коммунистического прошлого.

Если в Чехии вскоре после крушения коммунистического режима было принято радикальное законодательство о люстрации, то в Польше и Венгрии соответствующие меры носили менее последовательный характер. В дальнейшем эта проблема всячески подчеркивалась польскими последователями братьев Качиньских и венгерскими сторонниками В. Орбана. Вместе с тем в Польше историческая политика стала основным идентификатором конфликтов, разделивших страну, что происходило на фоне растерянности либеральных и демократических элит [Исаев 2019]. Сходная ситуация наблюдалась в Венгрии, где консервативный дискурс получил распространение задолго до победы партии Фидес на парламентских выборах 2010 г. [Buzogány, Varga 2019]. В Польше партия «Право и справедливость» широко использовала теорию заговора вокруг крушения под Смоленском в апреле 2010 г. самолета, на котором летели руководители страны. «Вера в эту теорию, а не определенный возраст, доход или образование в наибольшей степени является характеристикой сторонников партии Качиньского» [Krastev 2016: 95].

По мнению И. Крастева и С. Холмса, в течение двух десятилетий после 1989 г. политическую философию посткоммунистических элит Центральной и Восточной Европы можно было представить в качестве единого императива подражания Западу. Новые элиты прежде всего стремились к тому, чтобы «их страны стали “нормальными”, то есть подобными Западу. Это предполагало импорт либерально-демократических институтов, применение западных политических и экономических рецептов и публичную поддержку западных ценностей. Имитация

понималась как кратчайший путь к свободе и процветанию» [Krastev, Holmes 2018: 118].

Однако процесс имитации неизбежно сопровождался ощущением собственной ущербности и утраты идентичности. Кроме того, имитация западных образцов подразумевала, что Запад вправе оценивать, насколько успешным оказалось заимствование. Тем самым корни право-популистского консервативного поворота в регионе следует искать в политической психологии и прежде всего в «глубоко укоренившемся отвращении к “имитационному императиву” периода после 1989 года со всеми его унижительными следствиями» [Krastev, Holmes 2018: 118]. Иными словами, усиление антилиберальных тенденций в значительной мере определялось стремлением консервативных сил восстановить национальное самоуважение.

Кроме того, последствия войны в Ираке в 2003 г. дискредитировали идею распространения демократии, а экономический кризис 2008 г. породил недоверие к экономическим элитам. В итоге жители стран Центральной и Восточной Европы «отвернулись от либерализма не потому, что он оказался несостоятельным в их странах, а потому, что, по их мнению, он оказался несостоятельным на Западе. Как будто бы им велели подражать глобально доминирующему Западу в тот самый момент, когда Запад утрачивал это доминирование» [Krastev, Holmes 2018: 119].

Особое беспокойство в странах Центральной и Восточной Европы вызывает этнокультурная трансформация западных обществ. Сторонники идей правого популизма рассматривают распределение мигрантов в соответствии с установленными Европейской комиссией квотами как «попытку навязать им модель мультикультурного общества, которую они считают провалившейся. Мы можем наблюдать в этих странах возвращение дискурса о защите национальной культуры и европейской цивилизации — на этот раз от исламизма, надвигающегося с юга, как когда-то от советской угрозы с востока» [Rupnik 2018: 33].

Согласно Крастеву и Холмсу, поскольку западная «нормальность» видится восточным европейцам не в качестве идеального состояния, но как реально существующее общество, то происходящие в странах Запада изменения приводят к тому, что меняется и понимание нормального. «В глазах консервативно настроенных поляков в годы холодной войны западные общества были нормальными, поскольку, в отличие от коммунистической системы, они сохраняли традиции и верили в бога. Затем поляки неожиданно обнаружили, что западная “нормаль-

ность” сегодня означает секулярность, мультикультурализм и гомосексуальные браки» [Krastev, Holmes 2018: 121]. По мнению этих исследователей, не следует удивляться тому, что консервативно настроенные поляки почувствовали себя обманутыми, когда увидели, что западное общество уже не существует в прежнем виде.

Для консервативных элит, пришедших к власти в Венгрии и Польше, «открытые общества Западной Европы, неспособные защитить свои границы от иностранных (в особенности мусульманских) “захватчиков”, выступают как в целом негативная модель, наглядная картина того социального порядка, которого восточные европейцы хотят избежать» [Krastev, Holmes 2018: 127]. При этом правые популисты в Центральной и Восточной Европе не просто отвергают прежний «императив имитации», но разворачивают его на 180 градусов. Как утверждают В. Орбан, Я. Качиньский и их последователи, именно Венгрия и Польша являются сегодня подлинной Европой, которой должна подражать западная часть континента, чтобы сохранить свою идентичность. Тем самым правые популисты предлагают в том числе и собственную интерпретацию западной модерности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переход от осознания восточными европейцами собственной «цивилизационной недостаточности» к реализации альтернативного проекта «нелиберальной демократии» едва ли может быть объяснен исключительно в терминах цивилизационного подхода. Понятие цивилизации предполагает значительную степень исторической преемственности и зависимости от колеи предшествующего развития. Цивилизационные тренды не могут кардинально измениться в течение двух десятилетий. Понятия чередующихся модерностей и интерпретации модерности позволяют в большей степени учитывать многообразие форм исторического наследия в восточно-европейских странах и избирательное использование такого наследия политическими элитами.

Пришедшие к власти в Венгрии и Польше правые популисты предлагают собственную интерпретацию различных периодов истории этих стран, коммунистической версии модерности и посткоммунистических трансформаций. Кроме того, они по-своему интерпретируют и современное состояние западных обществ. В глазах сегодняшних восточно-европейских консерваторов «подлинный» Запад — это тот образ, кото-

рый сложился у них еще до крушения коммунистической системы. После воссоединения ранее разделенных частей европейского континента постепенно нарастало расхождение между «воображаемым» Западом и реальностью. В настоящее время венгерская и польская консервативные элиты расценивают структуры Евросоюза и западноевропейские государства как неспособные справиться с существующими проблемами, в том числе с потоком мигрантов из развивающихся стран. В качестве подлинной Европы эти консервативные элиты представляют сегодня собственные «иллиберальные» режимы, предлагая их как образец для подражания тем государствам, чьи политические и экономические институты они еще недавно столь прилежно копировали.

Литература

Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал. 2011. № 1. С. 10–35.

Блоккер П. Сталкиваясь с модернизацией: открытость и закрытость другой Европы // Новое литературное обозрение. 2009. № 6. С. 18–34.

Исаев И. Удержать прошлое: как Польша, борясь с коммунизмом, губит демократию // Неприкосновенный запас. 2019. № 1. С. 54–63.

Мадьяр Б. Анатомия посткоммунистического мафиозного государства: на примере Венгрии. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 392 с.

Масловская Е.В., Масловский М.В. Историческое наследие советской версии модерна: новые теоретические подходы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20, № 1. С. 7–17.

Масловский М.В. Цивилизационный дискурс российской политической элиты в контексте интерпретаций модерности // Власть и элиты. 2019. Т. 6, вып. 1. С. 15–31.

Мещеряков Д.Ю. Католическая церковь как политический актор в посткоммунистической Польше: влияние на партийную политику // Политическая наука. 2014. № 3. С. 249–259.

Шкаратан О.И. Системы цивилизации и модели социально-экономического развития России и других посткоммунистических стран Европы // Мир России. 2010. № 3. С. 23–45.

Arnason J. Alternating Modernities: The Case of Czechoslovakia // European Journal of Social Theory. 2005. Vol. 8, № 4. P. 435–451.

Blokker P. The Ruins of a Myth or a Myth in Ruins? Freedom and Cohabitation in Central Europe // The Inhabited Ruins of Central Europe / ed. by D. Gafijczuk, D. Sayer. L.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 40–54.

Blokker P. Populist Counter-Constitutionalism, Conservatism and Legal Fundamentalism // European Constitutional Law Review. 2019. Vol. 15. P. 519–543.

Bluhm K., Varga M. Introduction: Toward a New Illiberal Conservatism in Russia and East Central Europe // *New Conservatism in Russia and East Central Europe* / ed. by K. Bluhm, M. Varga. L.: Routledge, 2019. P. 1–22.

Buzogány A., Varga M. Against “Post-communism”: the Conservative Dawn in Hungary // *New Conservatism in Russia and East Central Europe* / ed. by K. Bluhm, M. Varga. L.: Routledge, 2019. P. 70–91.

Casanova J. Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and Multiple Modernities // *Current Sociology*. 2011. Vol. 59, № 2. P. 252–267.

Delanty G. Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019. 479 p.

Ekiert G. Three Generations of Research on Post-communist Politics — a Sketch // *East European Politics and Societies*. 2015. Vol. 29, № 2. P. 323–337.

Jasiecki K. “Conservative Modernization” and the Rise of Law and Justice in Poland // *New Conservatism in Russia and East Central Europe* / ed. by K. Bluhm, M. Varga. L.: Routledge, 2019. P. 130–153.

Kotkin S., Beissinger M. The Historical Legacies of Communism: An Empirical Agenda // *Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe* / ed. by M. Beissinger, S. Kotkin. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 1–27.

Krastev I. The Unraveling of the Post–1989 Order // *Journal of Democracy*. 2016. Vol. 27, № 4. P. 88–98.

Krastev I., Holmes S. Imitation and Its Discontents // *Journal of Democracy*. 2018. Vol. 29, № 3. P. 117–128.

Müller M. Goodbye, Postsocialism! // *Europe-Asia Studies*. 2019. Vol. 71, № 4. P. 533–550.

Powell E., Tucker J. Revisiting Electoral Volatility in Post-communist Countries: New Data, New Results and New Approaches // *British Journal of Political Science*. 2014. Vol. 44, № 1. P. 123–147.

Rupnik J. The Crisis of Liberalism // *Journal of Democracy*. 2018. Vol. 29, № 3. P. 24–38.

Saxonberg S. Beyond NGO-ization: the Development of Social Movements in Central and Eastern Europe. L.: Routledge, 2016. 280 p.

Spohn W. World History, Civilizational Analysis and Historical Sociology: Interpretations of Non-Western Civilizations in the Work of Johann Arnason // *European Journal of Social Theory*. 2011. Vol. 14, № 1. P. 23–39.

Sztompka P. Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies // *Zeitschrift für Soziologie*. 1993. Vol. 22, № 2. P. 85–95.

Wagner P. Successive Modernities and the Idea of Progress: A First Attempt // *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*. 2010. Vol. 11, № 2. P. 9–24.

Wagner P. Interpreting the Present: A Research Programme // *Social Imaginaries*. 2015. Vol. 1, № 1. P. 105–129.

INTERPRETATIONS OF MODERNITY AND THE CONSERVATIVE POLITICAL ELITES IN CENTRAL EASTERN EUROPE

M. Maslovskiy

(*maslovski@mail.ru*)

*Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences —
a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia*

Citation: Maslovskiy M. Interpretatsii modernosti i konservativnyye politicheskiye elity v Tsentral'noy i Vostochnoy Yevrope [Interpretations of modernity and the conservative political elites in Central Eastern Europe]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 5–21. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.1>

Abstract. *Research on political transformations in Central Eastern Europe drew on civilizational approaches and early versions of modernization theory that presupposed smooth transition to democratic political institutions. However, these approaches encountered difficulties in case of reversal of democratization processes. Thus right-wing populist parties which took power in Hungary and Poland moved in the direction of “illiberal democracy” in the 2010s. It is demonstrated in the article that the concepts of alternating modernities and interpretation of modernity are relevant for analysis of political processes in Central Eastern European states. Employing these concepts allows us to take into consideration multiple forms of historical legacy and selective use of such legacy by political elites. Right-wing populist elites in Hungary and Poland offer their own versions of history of these countries, the communist version of modernity and post-communist transformations.*

Keywords: *alternating modernities, political elite, conservatism, right-wing populism, Hungary, Poland.*

References

- Arnason J. Alternating Modernities: The Case of Czechoslovakia. *European Journal of Social Theory*, 2005, 8 (4), pp. 435–451.
- Arnason J. Kommunizm i modern [Communism and Modernity]. *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal], 2011, 1, pp. 10–35. (In Russian)
- Blokker P. Stalkivayas' s modernizatsiei: otkrytost' i zakrytost' drugoi Evropy [Confronting Modernization: Openness and Closure of the Other Europe]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review], 2009, 6, pp. 18–34. (In Russian)

Blokker P. The Ruins of a Myth or a Myth in Ruins? Freedom and Cohabitation in Central Europe. In: *The Inhabited Ruins of Central Europe*. Ed. by D. Gafijczuk, D. Sayer. London: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 40–54.

Blokker P. Populist Counter-Constitutionalism, Conservatism and Legal Fundamentalism. *European Constitutional Law Review*, 2019, 15, pp. 519–543.

Bluhm K., Varga M. Introduction: Toward a New Illiberal Conservatism in Russia and East Central Europe. In: *New Conservatism in Russia and East Central Europe*. Ed. by K. Bluhm, M. Varga. London: Routledge, 2019, pp. 1–22.

Buzogány A., Varga M. Against “Post-communism”: The Conservative Dawn in Hungary. In: *New Conservatism in Russia and East Central Europe*. Ed. by K. Bluhm, M. Varga. London: Routledge, 2019, pp. 70–91.

Casanova J. Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and Multiple Modernities. *Current Sociology*, 2011, 59 (2), pp. 252–267.

Delanty G. *Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe*. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019. 479 p.

Ekiert G. Three Generations of Research on Post-communist Politics — a Sketch. *East European Politics and Societies*, 2015, 29 (2), pp. 323–337.

Isaev I. Uderzhat' proshloe: kak Pol'sha, borias' s kommunizmom, gubit demokratiyu [Holding to the Past: How Poland Struggling with Communism Destroys Democracy]. *Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture* [Emergency Ration: Debates on Politics and Culture], 2019, 1, pp. 54–63. (In Russian)

Jasiecki K. “Conservative Modernization” and the Rise of Law and Justice in Poland. In: *New Conservatism in Russia and East Central Europe*. Ed. by K. Bluhm, M. Varga. London: Routledge, 2019, pp. 130–153.

Kotkin S., Beissinger M. The Historical Legacies of Communism: an Empirical Agenda. In: *Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe*. Ed by M. Beissinger, S. Kotkin. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 1–27.

Krastev I. The Unraveling of the Post–1989 Order. *Journal of Democracy*, 2016, 27 (4), pp. 88–98.

Krastev I., Holmes S. Imitation and Its Discontents. *Journal of Democracy*, 2018, 29 (3), pp. 117–128.

Madyar B. *Anatomiya postkommunisticheskogo mafioznigo gosudarstva. Na primere Vengrii* [Anatomy of a Post-communist Mafia State. The Example of Hungary]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. 392 p. (In Russian)

Maslovskaya E., Maslovskiy M. Istoricheskoe nasledie sovetskoj versii moderna: nove teoreticheskie podkhody [Historical Legacy of the Soviet Version of Modernity: New Theoretical Approaches]. *Vestnik Rossiiskogo universiteta družby narodov. Seriya: Sotsiologiya* [RUDN Journal of Sociology], 2020, 20 (1), pp. 7–17. (In Russian)

Maslovskiy M. Tsvivilizatsionnyi diskurs rossiiskoi politicheskoi elity v kontekste interpretatsii modernosti [Civilizational Discourse of the Russian Political Elite in the Context of Interpretations of Modernity]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2019, 6 (1), pp. 15–31. (In Russian)

Meshcheryakov D. Katolicheskaya tserkov' kak politicheskii aktor v postkommunisticheskoi Pol'she: vliyanie na partiinuyu politiku [The Catholic Church as a Political Actor in Post-communist Poland: the Influence upon Party Politics]. *Politicheskaya nauka* [Political Science], 2014, 3, pp. 249–259. (In Russian)

Müller M. Goodbye, Postsocialism! *Europe-Asia Studies*, 2019, 71 (4), pp. 533–550.

Powell E., Tucker J. Revisiting Electoral Volatility in Post-communist Countries: New Data, New Results and New Approaches. *British Journal of Political Science*, 2014, 44 (1), pp. 123–147.

Rupnik J. The Crisis of Liberalism. *Journal of Democracy*, 2018, no. 29 (3), pp. 24–38.

Saxonberg S. *Beyond NGO-ization: the Development of Social Movements in Central and Eastern Europe*. London: Routledge, 2016. 280 p.

Shkaratan O. Sistemy tsivilizatsii i modeli sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii i drugikh postkommunisticheskikh stran Evropy [The Systems of Civilization and Models of Socio-economic Development of Russia and Other Post-communist Countries of Europe]. *Mir Rossii* [Universe of Russia], 2010, 3, pp. 23–45. (In Russian)

Spohn W. World History, Civilizational Analysis and Historical Sociology: Interpretations of Non-Western Civilizations in the Work of Johann Arnason. *European Journal of Social Theory*, 2011, 14 (1), pp. 23–39.

Sztompka P. Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. *Zeitschrift für Soziologie*, 1993, 22 (2), pp. 85–95.

Wagner P. Successive Modernities and the Idea of Progress: A First Attempt. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 2010, 11 (2), pp. 9–24.

Wagner P. Interpreting the Present: A Research Programme. *Social Imaginaries*, 2015, 1 (1), pp. 105–129.

ИЗБИРАТЕЛИ РАДИКАЛЬНЫХ ПРАВЫХ ПАРТИЙ В ЕВРОПЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АТТИТЮДЫ, НАЦИОНАЛИЗМ

В.В. Сафронов

(vsafronov@list.ru)

Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН,
Санкт-Петербург, Россия

Цитирование: Сафронов В.В. Избиратели радикальных правых партий в Европе: социальная демография, политические аттитюды, национализм // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 22–63.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.2>

Аннотация. *Обсуждаются отличительные характеристики избирателей радикальных правых партий в странах Западной и Восточной Европы. Выявленные в многочисленных западных исследованиях зависимости ставятся сегодня под сомнение, и отмечаются принципиальные расхождения между такими избирателями в одной и другой частях континента. Эмпирическая проверка этих утверждений осуществлялась с использованием данных Европейского социального исследования 2016–2017 гг. (ESS, Round 8) для четырех западных стран (Австрия, Нидерланды, Финляндия и Франция) и четырех восточных (Венгрия, Польша, Россия и Эстония). Результаты позволяют подтвердить и уточнить сложившиеся научные представления об особенностях электората радикальных правых партий в странах Западной Европы. В нем диспропорционально представлены граждане с невысоким образованием и социально-профессиональным статусом, младшие и средние возрастные когорты (представительство мужчин и женщин было сходным, хотя есть и исключения из этого правила). Главные отличия электората связаны с высокой неудовлетворенностью властями, работой политических структур и институтов и неприязненным отношением к иммигрантам и беженцам. В Восточной Европе голосующих за радикальные националистические партии также с большей вероятностью можно было встретить в младших и средних возрастных группах (преобладание мужчин также не было общей закономерностью), однако ни образование, ни профессиональный статус существенной роли не играли. Для них тоже характерно недовольство политикой (в Польше — удовлетворенность, поскольку рассматриваемая*

партия выиграла выборы) и националистические взгляды, однако эти зависимости были не такими сильными, как в западных странах. Во всех странах (за единственным исключением) приверженность консервативным взглядам и ценностным ориентациям на безопасность, послушание, соблюдение традиций не относились к важным различительным переменным. Наименее отчетливыми были все отмеченные различия, исключая возрастные особенности, в России. Исследование показывает, что поддержка радикальных правых партий в Западной Европе социально структурирована и отвечает их идеологическому предложению с характерным националистическим уклоном и популистской риторикой. Такое предложение находит своих сторонников и в странах Восточной Европы, входящих в ЕС, однако их воззрения не соотносятся с социально-экономической стратификацией общества.

Ключевые слова: радикальные правые партии, избиратели, социальная демография, политические аттитюды, национализм, Западная и Восточная Европа, Европейское социальное исследование 2016 (ESS Round 8).

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы во многих странах Западной и Восточной Европы стала особенно отчетливой тенденция, возникшая еще в начале 1980-х годов, которая свидетельствует о быстром росте электората и расширении парламентского представительства радикальных партий, идеологические ориентиры которых связаны с крайним национализмом [нативизмом], неприятием либеральной демократии и популизмом [Mudde 2007]. Согласно теоретическим представлениям и эмпирическим фактам [Сафронов 2018; Rydgren 2018], в современных развитых индустриальных обществах эта тенденция порождается актуализацией радикальных националистических, консервативных и популистских взглядов в социальных страдах, проигравших вследствие постиндустриальной модернизации и процессов глобализации, а в Центральной и Восточной Европе — также в результате кардинальной трансформации прежних коммунистических общественных систем [Ignazi 1992; Bornschieer 2018; Minkenberg 2015; Mudde 2016]. Мотивирующему воздействию взглядов на голосование за радикальных националистов способствуют и благоприятные политические возможности, возникающие, как считается, при пропорциональных избирательных системах и партийной конкуренции, организованной не в традиционном экономическом измерении, а по оси социально-культурного противостояния

вокруг проблем окружающей среды, прав женщин, ЛГБТ, иммигрантов, беженцев [Kitschelt 2007; 2018].

Многочисленные исследования, нацеленные на выявление демографических и социальных особенностей избирателей правых радикалов, а также их аттитудов и ценностей, позволили выделить ряд отличительных признаков (последние обзоры см. в: [Arzheimer 2018; Golder 2016; Muis, Immerzeel 2017]). Крайние правые партии склонны поддерживать представители рабочего и нижнего среднего классов, мелкого бизнеса. Это, как правило, избиратели с невысоким уровнем образования, скорее мужчины, чем женщины, и молодые, чем пожилые, люди, для их взглядов характерным является выраженное недовольство политикой [Arzheimer 2009; Arzheimer, Carter 2006; Coffé 2018; Lubbers, Gijssberts, Scheepers 2002; Norris 2005].

Но главное, что отличает тех, кто голосует за такие партии, — обеспокоенность угрозами обществу вследствие появления значительного числа иммигрантов из стран с отличной от Европы культурой [Arzheimer 2011; Ivarsflaten 2008; Lubbers, Gijssberts, Scheepers 2002; Oesch 2008; Rydgren 2008]. Она усиливает недоверие к политике основных парламентских партий, преследующих, как полагают эти избиратели, лишь свои узкие интересы, забыв о нуждах народа. Эти аттитуды позволяют в определенной степени объяснить классовые, профессиональные и образовательные различия в поддержке радикальных правых партий. Национальная идентификация, гордость и этническое понимание государственности, отражая другие аспекты национализма, также повышают вероятность голосования за эти партии [Lubbers, Coenders 2017]. Определенный вклад, помимо политического недоверия и этнической угрозы, вносит и евроскептицизм — недоверие структурам управления ЕС и представление о чрезмерном отказе от национально-суверенитета [Werts, Scheepers, Lubbers 2013]. В странах Центральной и Восточной Европы популистские националистические партии тоже используют мобилизацию против этнических меньшинств, и если раньше это делалось по отношению к людям других национальностей, проживающих в стране, то в последнее время — против иммигрантов из неевропейских стран [Buščíková 2018].

Высокая поддержка радикальных правых партий в нижних общественных слоях порождается не только новыми экономическими угрозами и обострением проблем иммиграции, которые были вызваны глобализацией, но и неприятием изменений в культуре при переходе

к постиндустриальному обществу. В обществе начинает складываться новое политическое противостояние, разделяющее образованные слои и социально-культурных специалистов из среднего класса, поддерживающих расширение свобод, терпимости, космополитизма, и промышленных и сервисных рабочих, клерков и владельцев малого бизнеса, выступающих сторонниками «консервативной контрреволюции» с позиций национализма и традиционных ценностей [Bornschiefer 2018; Ignazi 1992; Kitschelt 2007; Kriesi et al. 2008; 2012; Norris, Inglehart 2019; Oesch 2012]. Рост популистских партий, согласно данным Европейского социального исследования 2002–2014 гг., отражает реакцию консервативно настроенных слоев общества против широкого спектра быстрых культурных изменений, разъедающих традиционные ценности и установления [Inglehart, Norris 2016]. Либерализация в восточноевропейских демократиях отношения к этническим меньшинствам и усиление их политического влияния вызвали сходную ответную реакцию — рост голосов за популистские и националистические радикальные партии [Bustikova 2014].

Поддержка радикальных правых партий связана, таким образом, с менее образованными, нижними социальными слоями, питается политическим недовольством граждан, указывающим на недоверие к властям, лево- и правополитическим парламентским партиям, структурам ЕС, значительно усиливается вследствие их тревоги, вызванной расширением иммиграционных потоков, и опирается на консервативные ценности. Хотя такие представления об электорате этих партий получили признание в научных кругах, есть работы, в которых они ставятся под сомнение. Согласно результатам анализа избирателей популистских партий в Западной Европе [Rooduijn 2018], даже если ограничиться только десятью представителями их радикального правого крыла, ни демография и социальная структура, ни евроскептицизм, а также, в меньшей мере, политическое недоверие не позволяют предложить общего объяснения электоральной поддержки для всех этих партий. Такое объяснение дает только одна переменная — аттитюды, поддерживающие запрет на иммиграцию. Метаанализ статей за последние двадцать с лишним лет, посвященных исследованию (с использованием регрессионного анализа) индивидуальных отличий избирателей, голосующих в Европе за радикальные правые партии, показал, что предполагаемые зависимости с любой из указанных характеристик, даже с антииммигрантскими аттитюдами, подтверждаются лишь менее чем в половине аналитических материалов [Stockemer, Lentz, Mayer 2018].

Усилению неопределенности способствуют недостаточная изученность проблемы в странах Центральной и Восточной Европы [Mudde 2017] и заметные отличия голосования за радикальных националистов в этих странах и в западных обществах — зависимости, характерные для последних, проявляются в них неотчетливо [Сафронов 2019; Kehrberg 2015]. В недавнем исследовании было показано, что разве только евроскептицизм объединяет избирателей радикальных правых партий по всей Европе, тогда как нативизм, выступающий на Западе самым сильным фактором, оказывал влияние лишь в отдельных странах Восточной Европы, а переменная политического недоверия была связана с таким голосованием обратной, чем в развитых европейских странах, зависимостью: избиратели этих партий были склонны доверять властям [Santana, Zagórski, Rama 2020].

В связи с отмеченными проблемами в настоящем исследовании предполагалось проверить, насколько обоснованными являются сомнения в закономерностях голосования за правых радикалов, выявленных в предшествующих работах, а также попытаться найти характерные особенности сторонников правых националистических партий в посткоммунистических обществах и установить, являются ли они специфичными для этого электората. В анализ включались несколько стран Западной и Восточной Европы, в которых правые радикальные партии получали на недавних общенациональных парламентских выборах заметную поддержку. Он был нацелен на решение четырех основных задач. Первая предполагала выявление характерных признаков социальной демографии современных избирателей радикальных правых партий в тех и других странах. Вторая задача — описание их политических аттитюдов, включая отношение к властям, политическим институтам и демократической системе соответствующих государств, а также к Европейскому парламенту и процессу европейской интеграции. Третья была связана с проверкой предположений о мотивации этих избирателей недовольством, вызванным ростом в странах Европы численности иммигрантов и беженцев из слаборазвитых стран с чуждой европейцам культурой. Наконец, четвертая задача — поиск ценностных оснований этой мотивации, опираясь на соображения о вероятной приверженности голосующих ориентациям на безопасность, подчинение и усиление государства, а также на сохранение традиций и консервативных норм, в том числе в области гендерных отношений, семьи и сексуального поведения.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

В настоящей работе анализировались данные репрезентативных национальных опросов Европейского социального исследования (последние из доступных массивов, включающих все участвовавшие страны [ESS Round 8... 2016]). Для углубленного рассмотрения были отобраны по четыре страны Западной и Восточной Европы, в которых радикальным правым партиям удалось получить заметное число голосов на последних перед опросами общенациональных парламентских выборах. Названия этих партий и полученные ими голоса на выборах, о которых спрашивали респондентов во время ESS опросов в 2016 г., представлены в таблице 1.

Таблица 1

Включенные в анализ страны, парламентские выборы и радикальные партии

Страны	Радикальные правые партии	Год выборов	Голоса, %
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА			
Австрия	Австрийская партия свободы, FPÖ	2013	20.5
	Альянс за будущее Австрии, VZÖ		3.5
Нидерланды	Партия свободы, PVV	2012	10.1
Финляндия	Истинные финны, PS	2015	17.6
Франция	Национальный фронт, FN	2012	13.6
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА			
Венгрия	Йоббик, Jobbik	2014	20.2
Польша	Право и справедливость, PiS	2015	37.6
Россия	ЛДПР	2016	13.1
	Родина		1.5
Эстония	Консервативная народная партия Эстонии, EKRE	2015	8.0

При проведении анализа учитывались только те респонденты, которые во время интервью сообщили, что принимали участие в последних общенациональных парламентских выборах (нижних палат — при двухпалатной системе). В каждой из стран, опираясь на статистический анализ таблиц сопряженности, парных корреляций и логистических регрессий, изучался широкий спектр индивидуальных переменных в их

связи с голосованием за соответствующую партию. Эти переменные составляют четыре блока характеристик:

(1) СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ

Пол: 0 — женщины, 1 — мужчины.

Возраст — в годах, а также представленный шестью категориями: 1 — до 25 лет; 2 — 25–34 года; 3 — 35–44 года; 4 — 45–54 года; 5 — 55–64 года; 6 — 65 лет и старше.

Образование — Международная стандартная классификация образования (версия ISCED, International Standard Classification of Education, разработанная для Европейского социального исследования, см.: [ESS8... 2016]), включающая семь категорий: 1 — ниже неполного среднего; 2 — неполное среднее; 3 — среднее, нижний уровень; 4 — среднее, верхний уровень; 5 — продвинутое профессиональное; 6 — высшее, нижний уровень, степень бакалавра; 7 — высшее, верхний уровень, степень магистра и выше (1 — ES-ISCED I, less than lower secondary; 2 — ES-ISCED II, lower secondary; 3 — ES-ISCED IIIb, lower tier upper secondary; 4 — ES-ISCED IIIa, upper tier upper secondary; 5 — ES-ISCED IV, advanced vocational, sub-degree; 6 — ES-ISCED V1, lower tertiary education, BA level; 7 — ES-ISCED V2, higher tertiary education, >= MA level).

Место жительства — по описанию участников опросов: 1 — крупный город; 2 — пригороды крупного города; 3 — небольшой город; 4 — село, деревня; 5 — ферма, дом в сельской местности.

Профессиональный статус — Международная стандартная классификация профессий (International Standard Classification of Occupations, ISCO 08, см.: [International Labour Office 2012]), включающая девять обобщающих категорий: 1 — руководители, менеджеры; 2 — профессионалы; 3 — специалисты-техники; 4 — клерки, офисные работники; 5 — работники сферы услуг и торговли; 6 — квалифицированные рабочие в сельском хозяйстве, лесной и рыбной отраслях; 7 — рабочие квалифицированного ручного труда; 8 — операторы машин, сборочных линий; 9 — простейшие, неквалифицированные профессии.

Воспринимаемый уровень жизни — шкала ответов на вопрос анкеты «Какое из высказываний на этой карточке наиболее точно описывает уровень дохода вашей семьи в настоящее время?»: 1 — «Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений»; 2 — «Этого дохода нам в принципе хватает»; 3 — «Жить на такой доход довольно трудно»; 4 — «Жить на такой доход очень трудно».

Религиозность — указание «насколько религиозным человеком вы себя считаете?» по шкале от 0 — совсем не религиозным до 10 — очень религиозным.

(2) ПОЛИТИЧЕСКИЕ АТТИТЮДЫ

Неудовлетворенность руководством страны — «...тем, как оно выполняет свою работу?» по шкале от 0 — совершенно не удовлетворен до 10 — полностью удовлетворен.

Политическое недоверие — оценки, выставленные отдельно политикам, политическим партиям и национальному парламенту по шкале от 0 — совершенно не доверяю до 10 — полностью доверяю, преобразуются (поскольку достаточно тесно взаимосвязаны) в обобщающий индекс (среднее арифметическое значение для трех отдельных шкал).

Невосприимчивость политической системы к интересам граждан — среднее арифметическое оценок при ответах на два вопроса: «В какой мере... нынешняя политическая система в (стране) позволяет таким людям, как вы, сказать свое слово в решении о том, в каком направлении действовать правительству?» и «...влиять на политику?» (шкалы от 1 — совсем нет до 5 — очень много).

Неудовлетворенность демократией — «Если говорить в целом, насколько вы удовлетворены тем, как работает демократия в (стране)?», шкала от 0 — совершенно не удовлетворен до 10 — полностью удовлетворен.

Недоверие Европейскому парламенту — по шкале от 0 — совершенно не доверяю до 10 — полностью доверяю.

(3) НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Убеждения об общественных последствиях иммиграции — измерялись с помощью трех вопросов: «Как вы считаете, то, что люди из других стран переезжают в (нашу страну), в целом плохо или хорошо сказывается на экономике (страны)?» (шкала 0 — плохо для экономики, 10 — хорошо для экономики), «...приток людей из других стран скорее разрушает или скорее обогащает культуру (страны)?» (шкала 0 — разрушает культуру нашей страны, 10 — обогащает культуру нашей страны) и «...с притоком людей из других стран (наша страна) как место для жизни становится лучше или хуже?» (шкала 0 — становится хуже, 10 — лучше). Рассчитывался индекс (среднее арифметическое значение), отражающий позиции респондента по этим трем шкалам.

Аттитюды к беженцам — оценивались по индексу (среднее арифметическое значение), отражающему степень согласия опрошенных

(шкала от 1 — полностью согласен до 5 — совершенно не согласен) со следующими суждениями: «Правительство должно без особых придинок предоставлять людям статус беженцев», «Большинство просящих статус беженца на самом деле совсем не боятся никаких преследований в своих странах» и «Людам, которые получили статус беженца, должно быть разрешено перевезти также близких членов своей семьи».

Отношение к объединению Европы — «Некоторые люди говорят, что процесс объединения Европы должен продолжаться. Другие считают, что объединение и так уже зашло слишком далеко», позиция на шкале между этими полюсами от 0 до 10.

(4) ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Ценностные ориентации — в ESS используется Портретный ценностный вопросник (21-item Portrait Values Questionnaire, PVQ, Schwartz 2001), содержащий 21 суждение с описанием людей, которых респондент оценивает по степени похожести на себя (шкала от 1 — очень похож на меня до 6 — совсем на меня не похож). Позволяет описать десять типов предпочтений, выделяемых в теории ценностных универсалий Ш. Шварца [Schwartz 1992; 2012], включая ориентации на «безопасность», «конформизм» и «традиции», близкие авторитарно-консервативным аспектам идеологии радикальных правых (значимость для респондента каждой из ценностей рассчитывается относительно его средней оценки по шкалам всех суждений).

Консервативные гендерные и семейные стереотипы — степень согласия (по шкале от 1 — полностью согласен до 5 — совершенно не согласен) с суждениями: «Когда рабочих мест не хватает, у мужчин должно быть преимущество перед женщинами при приеме на работу» и «Однополые пары должны иметь такие же права усыновлять детей, как и традиционные семейные пары».

ЭЛЕКТОРАТ РАДИКАЛЬНЫХ ПРАВЫХ ПАРТИЙ: СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ

Влияние на голосование за радикальные националистические партии переменных, характеризующих социальную демографию опрошенных, анализировалось с помощью логистических регрессий. Результаты этого анализа для стран Западной Европы сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Избиратели радикальных правых партий в Западной Европе: социальная демография

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ	АВСТРИЯ		НИДЕРЛАНДЫ		ФИНИЛЯНДИЯ		ФРАНЦИЯ	
Константа	0.07***	0.07***	0.01***	0.01***	0.01***	0.01***	0.02***	0.01***
Пол (М)	1.39	1.44*	0.70	0.78	2.10***	1.96**	1.57*	1.45
<i>Возраст:</i>								
до 25 лет	0.90	1.10	2.49	4.00**	1.18	1.04	1.36	2.25
25–34	1.40	1.90*	1.83	2.57*	1.98*	2.36**	0.94	1.62
35–44	1.46	1.77*	1.37	2.02	1.59	1.84*	1.42	2.29*
45–54	1.36	1.56	1.03	1.32	1.79*	1.93*	1.44	1.74
55–64	1.13	1.18	1.17	1.44	1.44	1.56	1.94*	1.97*
<i>Образование:</i>								
Ниже неполного среднего		5.96*		8.28**		2.78		5.51**
Неполное среднее		7.22***		7.62**		2.02		3.32
Среднее, нижний уровень		4.37***		4.61*				7.27***
Среднее, верхний уровень	1.16			4.37*		3.44*		2.59
Продвинутое профессиональное	2.27			2.16		1.87		1.06
Высшее, степень бакалавра	0.56			1.47		0.96		1.19

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ	АВСТРИЯ		НИДЕРЛАНДЫ		ФИНИЛЯНДИЯ		ФРАНЦИЯ	
<i>Место жительства</i>								
Пригороды крупного города	2.33**	2.28**	2.56*	2.57*	1.01	0.91	1.46	1.32
Небольшой город	1.31	1.11	2.59**	2.34*	1.57	1.45	1.59	1.28
Село, деревня	1.12	0.91	1.54	1.35	1.29	1.20	2.79**	1.80
Ферма, сельский дом	0.79	0.67	0.21	0.17	1.67	1.49	1.95	1.20
<i>Профессиональный статус</i>								
Простейшие профессии	3.48***	0.75	5.55***	1.92	2.47	1.26	2.15	1.37
Операторы машин, линий сборки	1.41	0.34*	16.06***	5.69**	6.47***	3.24**	2.96*	2.25
Рабочие квалифициро- ванного ручного труда	1.68	0.45	8.42***	2.93	5.99***	2.85*	1.74	1.15
Квалифицированные рабочие в с/х, лес, рыба	1.09	0.25*	0.00	0.00	1.32	0.71	2.39	2.01
Работники в сферах торговли и услуг	3.24***	0.92	4.51***	1.82	4.82***	2.56*	2.69**	2.23
Клерки, офисные работники	1.50	0.49	4.28**	1.84	3.77**	2.01	1.76	1.70
Специалисты-техники	0.79	0.38*	1.60	0.85	2.76**	1.85	1.39	1.45
Руководители, менеджеры	1.34	0.71	1.70	1.28	0.92	0.67	1.16	1.42

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ	АВСТРИЯ		НИДЕРЛАНДЫ		ФИНИЛЯДИЯ		ФРАНЦИЯ	
	Низкий уровень жизни	2.05*	1.79	2.91*	2.53	3.75***	3.33**	1.72
Религиозность	0.66	0.58	0.50	0.50	1.05	0.99	1.74	1.51
Nagelkerke's R ²	0.09	0.14	0.17	0.20	0.17	0.20	0.08	0.15
N	1285	1282	1151	1150	1273	1271	998	998

В клетках таблицы — коэффициенты логистических регрессий (odds ratio), зависимая переменная — голосование за радикальную правую партию. Низкий уровень жизни и религиозность — коэффициенты оценивают различия между полярными категориями. Референтные категории: возраст — 65 лет и старше; образование — высшее, степень магистра и выше; место жительства — крупный город; профессиональный статус — профессионалы. Уровни значимости: *0.05. **0.01. ***0.001.

Для каждой из них приводятся две модели — в первой набор независимых переменных включает показатели пола, возраста, места жительства, профессионального статуса и оценки уровня жизни и религиозности, а во второй он дополнен признаком образования (это позволяет оценить самостоятельное влияние обоих связанных между собой факторов социально-экономического статуса — профессионального положения и уровня образования индивида).

В Австрии, согласно первой модели, можно обнаружить отчетливые различия избирателей Австрийской партии свободы (FPÖ) и Альянса за будущее Австрии (BZÖ) по профессиональному статусу. По сравнению с референтной категорией «профессионалы», представители которой менее всего склонны голосовать за эти партии, их избирателей с гораздо большей вероятностью можно встретить среди рабочих, занятых простейшим, неквалифицированным трудом, а также работников в сферах торговли и услуг.

Важную различительную роль, как показывает вторая модель, играет и образование — объяснительные возможности модели заметно повышаются, о чем свидетельствует увеличение Nagelkerke's R^2 с 0.09 до 0.14. Респонденты, имеющие степень не ниже магистра или соизмеримое образование, наименее склонны отдавать свои голоса радикальным правым партиям, тогда как люди с невысоким образовательным уровнем (ниже неполного среднего, с неполным средним и средним нижнего уровня) это делают, напротив, чаще других. Коэффициенты для профессионального статуса при этом меняют знак (odds ratio становятся меньше единицы) и утрачивают по большей части статистическую значимость, что происходит вследствие тесных взаимосвязей двух показателей социально-экономического статуса. Различия, обусловленные профессиональным статусом, в определенной мере объясняются тем, что работники, занятые менее квалифицированным трудом, имеют, как правило, невысокое образование, а те, кто занимает высокие позиции в профессиональной структуре, получают его в высших учебных заведениях. Среди показателей социальной демографии самые отчетливые дифференциации связаны с описанными социально-структурными особенностями, но следует также отметить, что за FPÖ (BZÖ) скорее голосуют в пригородах, чем в крупных городах, а также люди, испытывающие материальные трудности из-за недостаточных доходов. Мужчины, как и предполагалось, чаще, чем женщины, отдают свои голоса этим партиям, однако такая зависимость оказалась очень слабой.

За них скорее голосуют люди младшего-среднего возраста (25–34 и 35–44 года), но не представители самой младшей когорты (до 25 лет), правда, эти различия вновь были весьма слабыми. Интересующие нас избиратели не считают себя религиозными людьми, хотя такая зависимость оставалась вне принятых критериев статистической значимости.

В Нидерландах обнаруживаются сходные закономерности структурирования голосования за Партию свободы (PVV), причем они выражены даже с большей определенностью, чем в австрийской выборке. Особенно много голосующих за эту партию было среди квалифицированных рабочих, но с большей вероятностью их можно встретить также в рядах неквалифицированных рабочих, работников торговли и сферы услуг, клерков, в отличие от профессионалов, не склонных ее поддерживать. Коэффициенты, характеризующие профессиональные особенности, существенно уменьшаются после контроля образования, при этом полная модель немного лучше объясняет электоральное поведение — Nagelkerke's R^2 повышается с 0.17 до 0.20. Это происходит потому, что избиратели PVV чаще встречаются среди респондентов с невысоким образовательным уровнем, которые и в профессиональной стратификации занимают невысокие позиции. Эти избиратели, кроме того, проживают скорее в небольших городах и пригородной зоне больших городов, принадлежат к младшим возрастным когортам и испытывают материальную депривацию. Пол и религиозность существенной роли не играют.

В Финляндии, как видно в таблице 2, электорат партии «Истинные финны» (PS) диспропорционально представлен квалифицированными рабочими и работниками торговли и предоставления услуг, но заметна и существенная разница между профессионалами, наименее склонными к ее поддержке, и простыми офисными работниками и специалистами-техниками. Включение в регрессию образования приводит к улучшению ее объяснительных возможностей — R^2 изменяется с 0.17 до 0.20, что говорит о важности этой переменной, однако соответствующие ей коэффициенты оказываются статистически незначимыми, а коэффициенты для профессионального статуса отчетливо уменьшаются. Такой эффект вызван, как уже отмечалось, тесными взаимосвязями показателей профессии и образования, и он не означает их слабой дифференцирующей силы. Избиратели PS, кроме того, это скорее мужчины, чем женщины, по возрастному делению относятся к младшим-средним категориям (25–34 года, но также 35–44 и 45–54 года). Они испытывают

материальные затруднения из-за низких доходов. Место жительства и религиозность при контроле прочих переменных особого значения не имеют.

Национальный фронт (FN) во Франции имеет бóльшую популярность среди работников, занимающих невысокие позиции в профессиональной структуре, прежде всего в рядах рабочих-операторов машин и линий сборки, работников торговли и сферы услуг, представителей наименее квалифицированных профессий, тогда как профессионалы проявляют наименьшую склонность голосовать за эту партию. Эти различия, однако, не очень отчетливы, и при добавлении в число независимых переменных образования существенно сокращаются и утрачивают статистическую значимость. Модель, учитывающая структурирование по образованию, заметно лучше объясняет электоральное поведение — R^2 увеличивается с 0.08 до 0.15. За FN с большей вероятностью голосуют люди с невысоким образованием — средним нижнего уровня, неполным средним и ниже, тогда как наиболее образованные респонденты к этому были не склонны. Ее сторонники — это скорее сельские жители, однако во второй модели такие различия оказываются неважными. То же самое можно сказать и о влиянии пола — слабые отличия, свидетельствующие о преобладании мужчин, после контроля образования становятся незначимыми в статистическом смысле. Возрастные особенности избирателей тоже выражены неотчетливо — коэффициенты немного выше в самой младшей группе и категории 35–44 года (но и 55–64), чем в категории пожилых людей. Влияние показателей религиозности и уровня жизни было слабым.

Результаты исследования социальной демографии в странах Западной Европы подтверждают выявленный в предшествующих работах синдром характеристик, отличающих избирателей радикальных правых националистических партий, правда, с некоторыми уточнениями. Достаточно отчетливо проявляются демографические и социально-структурные особенности, указывающие на большую склонность к голосованию за эти партии избирателей младших и средних возрастов, она существенно выше у менее образованных людей, но необязательно у тех, кто имеет самое низкое — только начальное — образование, а также у респондентов с невысоким профессиональным статусом, среди которых могут оказаться неквалифицированные и квалифицированные рабочие, работники торговли и сферы услуг, а в некоторых странах и офисные работники с рутинными функциями. Вопреки некоторым прежним

свидетельствам наш анализ не согласуется с предположениями о более вероятном голосовании за радикалов правого толка мужчин, чем женщин: только в Финляндии можно указать на эту зависимость, тогда как в других странах она была неотчетливой. К поддержке этих радикалов могут подтолкнуть и тяготы жизни, вызванные низкими доходами. Меньше голосуют за них в крупных городах, а больше — в их пригородах или небольших городах, но это отмечается только в двух из участвовавших стран. Таким образом, наш анализ показывает, что самые сильные в Западной Европы факторы электоральной поддержки радикальных правых партий связаны с положением индивидов в социальной структуре — их профессиональным статусом и образованием.

Аналогичные регрессионные модели для стран Восточной Европы представлены в таблице 3. Они имеют ряд особенностей, отличающих их от описанных зависимостей в западных странах.

При рассмотрении кросс-табуляций, описывающих голосование в Венгрии за партию «Йоббик» по каждой из наших независимых переменных, выяснилось, что это с большей вероятностью делают мужчины, представители младших-средних возрастных когорт, респонденты со средним-высоким образованием, люди, не считающие себя религиозными. Существенных различий по профессиональному статусу, месту жительства и оценкам уровня жизни не оказалось. Модели, приведенные в таблице 3, уточняют эти дифференциации — некоторые из них были достаточно слабыми и теряют статистическую значимость при взаимном контроле независимых переменных (в регрессиях треть респондентов попадает в категорию «missing data», прежде всего вследствие отсутствия у них сведений о профессии).

Согласно коэффициентам во второй модели (с образованием), больше сторонников этой партии было среди неквалифицированных и квалифицированных рабочих, по месту жительства выделяется категория «ферма, дом в сельской местности», по образованию — те, у кого оно продвинутого профессионального уровня, дает степень бакалавра или соответствует полному среднему. Однако вследствие отмеченного сокращения выборки нельзя с уверенностью утверждать о существовании таких дифференциаций: все перечисленные коэффициенты оставались за пределами статистической значимости. Тем не менее указанные характеристики образования нельзя не учитывать, о чем свидетельствует заметное улучшение объяснительного потенциала регрессии при учете этой переменной — происходит увеличение R^2 с 0.14 до 0.17.

Таблица 3

Социальная демография избирателей радикальных правых партий в Восточной Европе

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ	ВЕНГРИЯ		ПОЛЬША		РОССИЯ		ЭСТОНИЯ	
Константа	0.04	0.02	0.07	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05
Пол (М)	1.01	1.08	1.15	1.11	1.11	1.13	2.31**	2.36**
<i>Возраст:</i>								
до 25 лет	7.38**	5.13*	0.32**	0.35*	3.30*	3.53*	0.81	0.84
25–34	3.65**	2.61	0.58*	0.63	3.95***	4.04***	0.60	0.75
35–44	7.00***	5.09***	0.56*	0.58*	1.90	1.91	0.52	0.61
45–54	2.61*	1.99	0.76	0.75	1.16	1.12	0.62	0.67
55–64	2.29	1.70	0.88	0.91	1.41	1.38	0.86	0.89
<i>Образование:</i>								
Ниже неполного среднего		0.00		0.53		0.86		1.65
Неполное среднее		0.92		1.51		1.53		0.41
Среднее, нижний уровень		1.63		1.09				2.76
Среднее, верхний уровень		2.73		0.93		1.21		0.88
Продвинутое профессиональное		4.46		0.59		1.59		1.20
Высшее, степень бакалавра		3.43		1.16		0.41		0.48
<i>Место жительства</i>								
Пригороды крупного города	1.60	1.31	0.78	0.75	2.12	2.17	1.61	1.54
Небольшой город	1.30	1.31	1.27	1.25	1.35	1.38	1.13	1.09
Село, деревня	1.15	1.31	1.72**	1.66*	0.61	0.59	2.17*	2.13*
Ферма, сельский дом	3.63	3.78	2.52	2.43	2.11	1.84	1.56	1.42

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ	ВЕНГРИЯ		ПОЛЬША		РОССИЯ		ЭСТОНИЯ	
<i>Профессиональный статус</i>								
Простейшие профессии	1.53	2.66	1.34	1.01	0.94	0.77	1.12	1.06
Операторы машин, линий сборки	1.69	2.20	0.85	0.68	1.22	0.99	0.13*	0.12**
Рабочие квалифицированного ручного труда	1.93	2.56	1.08	0.84	0.64	0.50	0.97	0.88
Квалифицированные рабочие в с/х, лес, рыба	0.26	0.41	1.61	1.33	1.04	0.86	0.32	0.37
Работники в сферах торговли и услуг	0.95	1.05	1.53	1.39	0.69	0.55	0.83	0.80
Клерки, офисные работники	1.00	0.88	0.62	0.60	0.68	0.58	0.59	0.54
Специалисты-техники	0.60	0.54	0.91	0.94	1.12	0.93	0.93	0.90
Управляющие	2.12	1.66	0.92	0.92	0.69	0.61	0.81	0.80
Низкий уровень жизни	0.83	1.30	2.51*	2.27	3.48**	3.27*	0.83	0.91
Религиозность	0.43	0.46	17.84***	16.74***	0.78	0.76	1.80	1.65
Nagelkerke's R ²	0.14	0.17	0.24	0.25	0.09	0.09	0.07	0.09
N	742	740	977	977	1036	1036	1132	1132

В клетках таблицы — коэффициенты логистических регрессий (odds ratio), зависящая переменная — голосование за радикальную правую партию. Низкий уровень жизни и религиозность — коэффициенты оценивают различия между полиарными категориями. Референтные категории: возраст — 65 лет и старше; образование — высшее, степень магистра и выше; место жительства — крупный город; профессиональный статус — профессионалы. Уровни значимости: *0.05. **0.01. ***0.001.

Незначимыми оказались отличия по полу, уровню жизни, религиозности. С уверенностью можно говорить только о возрастных особенностях голосования — за «Йоббик» бросают бюллетени скорее люди среднего возраста — 35–44 года и самые молодые — до 25 лет, менее определено — 25–34 лет.

Структурирование голосов, отданных в Польше за партию «Право и справедливость» (PiS), имело ряд существенных отличий от других изучавшихся нами стран. Следует иметь в виду, что эта партия, придерживаясь идеологических ориентиров, характерных для радикальных правых, все же в полной мере к этому партийному семейству не относится. Кроме того, она получила большую часть мандатов в Сейм и имела возможность проводить политику, которую поддерживали многочисленные консервативно и националистически настроенные избиратели. Тем не менее PiS была включена в наш анализ, поскольку в опросных данных не содержалось других сведений об интересующих нас организациях. «Право и справедливость» привлекает избирателей из разных социальных слоев, вычленяемых по профессиональному статусу и образованию, — влияние в регрессиях этих переменных было несущественным и за рамками статистической значимости. Среди них в равной мере представлены мужчины и женщины. Их с чуть большей вероятностью можно встретить в сельской местности, чем в городах, и среди людей с низкими доходами. Однако ключевые особенности электората определяли две переменные — религиозность и возраст. Известно, что во многих странах религиозные люди склонны поддерживать консерваторов, но не радикального толка. Такая же закономерность наблюдается в Польше: голосование за PiS разительно отличается у религиозных и нерелигиозных граждан — первые образуют ее ядерный электорат. Консервативные партии привлекают и более традиционно настроенные старшие поколения, что подтверждается и нашими результатами, в отличие от других изучавшихся партий, получающих большую поддержку в младших и средних возрастных когортах, «Право и справедливость» собирает, напротив, голоса людей старшего возраста.

ЛДПР, представляющая правых националистов и популистов в России (с добавлением малочисленных сторонников Родины), находит своих избирателей в самых разных социально-экономических стратах, вследствие чего ни переменная профессионального статуса, ни образование, как видно в таблице 3, не объясняют того, кто голосует за партию

В.Ф. Жириновского. Правда, вероятность найти избирателей этой партии повышается по мере снижения уровня жизни — среди тех респондентов, которые сообщали, что им трудно жить на свои доходы. Пол, место жительства и религиозность заметного влияния на голоса не оказывали. Однако они были связаны с возрастом: партия получала большую поддержку со стороны молодых респондентов, относящихся к категориям до 25 лет и 25–34 года.

Социальная демография слабо влияет и на голосование за Консервативную народную партию Эстонии (ЕКРЕ). Так, не было найдено отчетливых отличий по образованию, хотя чуть выше была вероятность поддержки в категории «среднее образование, нижний уровень» (но статистически незначимо), а также по профессиональному статусу, за одним исключением — квалифицированные промышленные рабочие были, в отличие от Западной Европы, не склонны отдавать голоса этой партии. Пол, возраст, материальные трудности жизни, религиозность тоже не объясняли интересующее нас электоральное поведение. Отметим, что ЕКРЕ была привлекательнее для сельского населения, чем для жителей больших городов, кроме того, среди ее избирателей проще встретить мужчин, чем женщин.

В целом, как следует из приведенных описаний, социально-структурные дифференциации, свидетельствующие о профессиональном положении и образовании индивидов, которые играют ведущую роль при объяснении голосования за радикальные правые партии на Западе, не позволяют в странах Восточной Европы идентифицировать избирателей этого партийного семейства — они могут получить поддержку в разных социальных слоях. В то же время в Польше и России этих избирателей скорее можно найти среди тех, кто испытывает материальные трудности из-за низких доходов. В Эстонии и Польше обнаруживаются также различия, связанные с местом жительства: избирателей правых радикалов можно чаще встретить, как и в некоторых западных странах, среди сельских жителей. Половые отличия в большинстве стран не проявляются, только в Эстонии было зафиксировано преобладание среди электората мужчин. Возрастные особенности, указывающие на избирателей младшего-среднего возраста, как это характерно для Западной Европы, проявлялись в Венгрии и России. В Польше за полурадикальных консерваторов голосовали скорее люди старших возрастов.

ОСОБЕННОСТИ ВЗГЛЯДОВ И УБЕЖДЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ РАДИКАЛЬНЫХ ПРАВЫХ ПАРТИЙ

Исследование воззрений, отличающих сторонников крайних националистических и популистских партий, начнем с рассмотрения результатов корреляционного анализа. Парные корреляции между признаком голосования за эти партии и переменными политических установок, националистических и консервативных воззрений и ценностных предпочтений приводятся в таблице 4. Кроме переменных, описанных выше в методическом разделе, нами были сконструированы еще два обобщающих индекса, характеризующих политическое недовольство и отношение к иммигрантам и беженцам. *Индекс политического недовольства* обобщает политические установки, свидетельствующие о неудовлетворенности индивида руководством страны, недоверии политикам, партиям, парламенту, невосприимчивости политической системы к интересам граждан и неудовлетворенности демократией (все эти показатели в каждой стране очень тесно связаны между собой и с латентной переменной, получаемой при факторном анализе методом главных компонент). После изменения полярности шкал и приведения их к общей размерности (от 0 до 1) этот индекс рассчитывался для каждого респондента из стран Восточной Европы как среднее арифметическое указанных четырех шкальных оценок. В западных странах в общее факторное решение входит еще одна переменная, измеряющая степень доверия Европейскому парламенту, поэтому индекс среднего арифметического значения политических установок подсчитывался с учетом этих оценок. *Индекс неприятия иммиграции и беженцев* представляет собой среднее арифметическое двух показателей, оказавшихся тесно взаимосвязанными в странах как Западной Европы, так и, правда, менее отчетливо, Восточной Европы: представлений об общественных последствиях иммиграции (для экономики, культуры, повседневной жизни) и установок к беженцам.

В Австрии, как видно в таблице 4, первый раздел, все переменные политических установок достаточно тесно коррелируют с голосованием за FPÖ, а также BZÖ: чем больше человек недоволен политикой, тем больше вероятность того, что он отметит в бюллетене эту партию. Коэффициент корреляции для общего индекса политического недовольства равняется 0.37 ($p < 0.000$). В Нидерландах такие зависимости с предпочтением «Партии свободы» наблюдаются с не меньшей определенностью. Коэффициент корреляции для общего индекса имеет значение 0.34 ($p < 0.000$).

Таблица 4

Особенности представлений избирателей радикальных правых партий: корреляционный анализ

ПЕРЕМЕННЫЕ	АВСТРИЯ	НИДЕРЛАНДЫ	ФИЛИППИНЫ	ФРАНЦИЯ	ВЕНГРИЯ	ПОЛЬША	РОССИЯ	ЭСТОНИЯ
	1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ НЕДОВОЛЬСТВО							
Неудовлетворенность руководством страны	0.28***	0.30***	0.14***	0.23***	0.20***	-0.64***	0.08*	0.16***
Недоверие политикам, партиям, парламенту	0.31***	0.30***	0.28***	0.23***	0.19***	-0.39***	0.01	0.11***
Невосприимчивость системы к интересам людей	0.22***	0.24***	0.21***	0.18***	0.07*	-0.07*	-0.03	0.04
Неудовлетворенность демократией	0.33***	0.29***	0.22***	0.24***	0.22***	-0.45***	-0.01	0.11***
Недоверие Европейскому парламенту	0.30***	0.26***	0.26***	0.24***	0.15***	0.17***	-0.06	0.12***
Индекс политического недовольства	0.37***	0.34***	0.28***	0.30***	0.21***	-0.55***	-0.01	0.14***
2. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ								
Антииммигрантские убеждения	0.40***	0.32***	0.31***	0.40***	0.07*	0.21***	-0.04	0.14***
Негативное отношение к беженцам	0.34***	0.28***	0.30***	0.37***		0.11***	-0.03	0.14***
Индекс неприятия иммиграции и беженцев	0.42***	0.33***	0.35***	0.43***		0.19***	-0.04	0.17***
Неприятие Европейской интеграции	0.27***	0.21***	0.26***	0.21***	0.05	0.17***	-0.03	0.14***

ПЕРЕМЕННЫЕ	АВСТРИЯ	НИДЕРЛАНДЫ	ФИЛИППИНЫ	ФРАНЦИЯ	ВЕНГРИЯ	ПОЛЬША	РОССИЯ	ЭСТОНИЯ
	3 ЦЕННОСТИ, КОНСЕРВАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ							
Безопасность	0.14***	0.12***	0.07*	0.06	0.04	0.16***	-0.05	-0.01
Конформизм	0.05	0.05	0.02	-0.04	-0.04	0.18***	-0.13***	-0.03
Традиция	0.04	0.07*	0.07*	0.05	-0.11**	0.23***	-0.06	-0.00
У мужчин больше прав	0.07*	0.00	0.08**	0.04	0.02	0.21***	0.08**	0.07*
Недопустимость однополых семей	0.09**	-0.04	0.19***	0.14***	0.00	0.22***	-0.04	0.13***

В клетках таблицы — коэффициенты парной корреляции с голосованием за радикальную правую партию. Уровни значимости: *0.05, **0.01, ***0.001.

Немного менее отчетливо подобные связи проявляются в Финляндии: избиратели партии «Истинные финны», как правило, недовольны политикой — значение корреляции для индекса равно 0.28 ($p < 0.000$). Аналогичным образом дела обстоят во Франции, где этот индекс связан с голосованием за Национальный фронт на уровне 0.30 ($p < 0.000$).

Сведения о корреляциях в странах Восточной Европы также можно найти в таблице 4. В Венгрии за «Йоббик» отдают свои голоса люди, неудовлетворенные руководством, политиками, партиями, парламентом и тем, как работает в стране демократическая система, но такие зависимости выражены с заметно меньшей отчетливостью, чем в странах Запада. Корреляция с индексом политического недовольства — 0.21 ($p < 0.000$). «Право и справедливость» в Польше, получившая большинство парламентских мест и играющая ведущую роль в выработке политики страны, получает свои голоса от тех, кто во время опроса с удовлетворением отмечал произошедшие политические перемены. Все коэффициенты связей голосования за PiS с аттитюдами к национальным политическим структурам (шкалы выраженности недовольства) оказались отрицательными и очень большими (исключая переменную восприимчивости системы к интересам людей). Коэффициент корреляции для обобщающего эти аттитюды индекса имеет значение -0.55 ($p < 0.000$). Это значит, что сторонники партии Я. Качиньского через полгода после выборов с удовлетворением высказывались о новом руководстве страны, политических институтах и работе польской демократии. При этом они были склонны с подозрением относиться к Европейскому парламенту ($r = 0.17$, $p < 0.000$). В России на выбор ЛДПР (или «Родины») при избрании Государственной Думы никакие политические аттитюды влияния не оказывали. Все корреляции были ничтожно малыми, статистически незначимыми. Только с показателем неудовлетворенности руководством страны получена слабая, но значимая связь ($r = 0.08$, $p < 0.014$), говорящая о чуть большей вероятности голосования среди тех, кто был недоволен властями. Наконец, для избирателей «Консервативной народной партии Эстонии» характерным является недовольство властями и политическими институтами страны и недоверие Европейскому парламенту, однако все эти корреляции были достаточно слабыми, хотя и статистически значимыми на высоком уровне. Так, коэффициент корреляции, связывающий голосование за эту партию с общим индексом политических аттитюдов, равняется всего лишь 0.14 ($p < 0.000$).

Приверженность антииммигрантским убеждениям и негативное отношение к беженцам, как показано во втором разделе таблицы 4, оказывают во многих странах очень сильное влияние на электоральную поддержку радикальных правых партий. Как отдельные показатели, так и общий индекс, измеряющие эту приверженность, тесно сопряжены с таким поведением на выборах. В Австрии коэффициент корреляции для индекса неприятия иммиграции и беженцев достигает 0.42, во Франции — 0.43, в Нидерландах и Финляндии он был немного меньше — 0.33 и 0.35 соответственно (для всех значений $p < 0.000$). Кроме того, те, кто голосует в западных странах за правых радикалов, склонны считать, что объединение Европы зашло уже слишком далеко. Коэффициент, указывающий на такую связь, был в Австрии равен 0.27, в Финляндии — 0.26, а в Нидерландах и Франции — 0.21 ($p < 0.000$ для всех значений).

Аналогичных взглядов придерживаются и голосующие за соответствующие партии в Польше и Эстонии, хотя зависимости в них проявлялись с гораздо меньшей определенностью. Так, корреляции с индексом отношения к иммиграции и беженцам составляли в той и другой стране 0.19 и 0.17, а с показателем неприятия европейской интеграции — 0.17 и 0.14 (все при $p < 0.000$). В Венгрии отрицательное отношение к иммиграции (об отношении к беженцам массив сведений не содержит) коррелировало с голосованием совсем слабо, а коэффициент для шкалы объединения Европы и вовсе оказался за пределами значимости. В России националистические воззрения, измеренные любым из обсуждавшихся показателей, на электоральную поддержку ЛДПР не влияли.

В Западной Европе ценности, свидетельствующие о важности для индивида безопасности, послушания и следования традициям, которые могут резонировать с авторитарно-консервативными идеологическими установками радикальных партий правого толка, едва ли в действительности мотивируют исследуемое электоральное поведение. Все связи оказались очень слабыми, и только о некоторых из них можно было сказать, что они являются неслучайными. Наиболее заметные корреляции оказались с ценностью безопасности: 0.14 в Австрии, 0.12 в Нидерландах (ниже в Финляндии и Франции — 0.07 и 0.06). Незначительную роль играют и консервативные представления о преимуществе мужчин при приеме на работу (в Австрии и Франции статистически значимые, но более чем скромные корреляции были 0.07 и 0.08). Важнее были убеждения о недопустимости воспитания детей

в семьях с однополыми родителями: в Финляндии корреляция составляла 0.19, во Франции 0.14, в Австрии 0.09 (при высоких уровнях значимости), правда, в Нидерландах, известной социально-культурными либеральными предпочтениями, такой зависимости не обнаружено.

Значение ценностных предпочтения и консервативных ориентаций в странах Восточной Европы было достаточно скромным. Польша, надо признать, составляет исключение — голосующие за PiS проявляли определенную склонность к ценностям безопасности ($r=0.16$), подчинения (0.18), соблюдения традиций (0.23), а также полагали, что мужчины должны иметь преимущества перед женщинами при приеме на работу ($r=0.21$), и выступали против разрешения однополым брачным парам растить детей (0.22) ($p<0.000$ для всех коэффициентов). В Эстонии тоже проявлялось несильное воздействие переменной, свидетельствующей о неприятии однополых семей (0.13, $p<0.000$), а в России и Эстонии — очень слабое влияние ориентаций на гендерное неравенство в трудовой сфере (соответственно 0.08, $p<0.009$, и 0.07, $p<0.017$). Остальные коэффициенты были статистически незначимыми или, при значимости, имели противоположный знак, что противоречило предположениям о ценностных мотивациях голосования.

В целом анализ парных корреляций между аттитюдами и голосованием за радикальные правые партии свидетельствует, что в странах Западной Европы ключевым фактором их поддержки выступает негативное отношение избирателей к иммигрантам и беженцам, а также (в меньшей степени) неприятие дальнейшего объединения Европы. С полной определенностью проявляется влияние политического недовольства, как национальными властями и институтами, так и Европейским парламентом. Ценности и убеждения, созвучные авторитарным и консервативным аспектам идеологии этих партий, существенного значения, за отдельными исключениями, не имеют. В таких странах Восточной Европе, как Венгрия и Эстония, политическое недовольство также играет мотивирующую роль, хотя соответствующие зависимости выражены слабее, чем на Западе. В Эстонии, кроме того, заметным было и воздействие националистических взглядов — неприятия иммигрантов, беженцев и Европейской интеграции. Еще чуть большим значение таких националистических ориентаций было в Польше. И только в этой стране предпочтения безопасности, подчинения, традиций и консервативные взгляды вполне определенно были связаны с поддержкой PiS. Политика с приходом к власти этой партии вызывала у ее электората

понятное одобрение. В России никакие взгляды и предпочтения не коррелировали сколько-нибудь заметно с предпочтением на выборах ЛДПР.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РАДИКАЛЬНЫЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ: ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

Поиск наиболее существенных факторов, оказывающих самостоятельное воздействие на электоральную поддержку радикальных правых партий, вновь осуществлялся с помощью логистических регрессий. В число независимых переменных включались показатели, которые, согласно нашему предшествующему анализу, были в большинстве стран отчетливо связаны с такой поддержкой (и не вызывали резкого сокращения численности респондентов из-за отсутствия ответов). Среди них демографические признаки (*возраст* при контроле *пола*), важнейшая социально-структурная характеристика — *образование*, политические аттитюды (*индекс политического недовольства*, а в Восточной Европе дополнительно — *переменная отношения к Европейскому парламенту*) и националистические взгляды (*индекс неприятия иммиграции и беженцев* и *шкала неприятия Европейской интеграции*). Каждая страна описывается тремя регрессиями: первая позволяет прояснить значение политического недовольства при учете социальной демографии, вторая — националистических представлений при социально-демографическом контроле, а третья — обоих факторов при их одновременном включении в регрессионное уравнение (odds ratios для этих переменных говорят об их влиянии на голосование при изменении на одно стандартное отклонение).

Результаты для Западной Европы можно найти в таблице 5. Политическое недовольство во всех четырех странах порождает сильную мотивацию голосования за интересующие нас партии. Об этом свидетельствуют статистически значимые на высоком уровне регрессионные коэффициенты (odds ratio в первых моделях), по значению превышающие единицу: в Австрии — 3.13, Нидерландах — 2.58, Финляндии — 2.10 и Франции — 2.54. Еще сильнее побуждала к голосованию приверженность националистическим убеждениям, особенно негативное отношение респондентов к иммиграции и беженцам. Коэффициенты для перечисленных стран соответственно равняются 3.66, 2.60, 2.21 и 4.52 (все при $p < 0.000$). Но и переменная критического отношения к дальнейшему объединению Европы оказывала статистически значимое воздействие, хотя и менее выраженное (становится незначимым в третьих

моделях вследствие нередкого сочетания таких представлений с политической неудовлетворенностью).

Политические аттитюды и националистические ориентации существенно улучшают в Западной Европе объяснительные возможности регрессий по сравнению с моделями, содержащими только социальную демографию (последние не приводятся). Так, добавление индекса недовольства политикой повышает в Австрии Nagelkerke's R^2 с 9 до 30 %, включение обеих переменных национализма — до 36 %, а когда учитывались и политические и националистические взгляды, значение этого показателя достигало 41 %. В Нидерландах политическое недовольство приводит к изменению R^2 от 11 к 26 %, национализм увеличивает его до 28 %, а оба фактора — до 35 %. Соответствующие изменения регрессий в Финляндии — с 13 до 23 % в модели с политическими аттитюдами, в уравнении с признаками национализма — до 29 % и, наконец, с теми и другими — до 32 %. Во Франции — с 13 до 25 % (политика), далее — до 41 % (национализм), и в модели со всеми переменными значение оставалось равным 41 %.

Приведенные коэффициенты и проценты улучшения моделей подтверждают, что политическое недовольство и национализм играют существенную роль в электоральной поддержке радикальных правых партий в Западной Европе. Важнейшей причиной такой поддержки является нативизм, националистическая ориентация их идеологии, находящая понимание у избирателей, опасющихся растущих потоков иммигрантов и беженцев. Но и неудовлетворенность политикой остается очень существенным самостоятельным фактором голосования за правых радикалов, хотя она достаточно тесно связана с националистическими взглядами — разочарование политикой в немалой мере вызывается обострением проблемы иммигрантов и беженцев (в объединенном массиве данных четырех западных стран корреляция этих переменных, Pearson's r , = 0.46, $p < 0.000$). Политическая неудовлетворенность резонирует с популистской риторикой радикальных партий, в которой клеймятся действующие власти и политические институты как обслуживающие исключительно интересы коррумпированных элит, но не простого народа.

ПЕРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АТТИТЮДЫ	АВСТРИЯ		НИДЕРЛАНДЫ		ФИНЛЯНДИЯ		ФРАНЦИЯ		
	3.13***	2.19***	2.58***	2.01***	2.10***	1.59***	2.54***	1.41*	
Неприятие иммиграции, беженцев	3.66***	2.97***	2.60***	2.09***	2.21***	2.02***	4.52***	3.93***	
Неприятие интеграции Европы	1.44**	1.04	1.59***	1.31	1.52***	1.29*	1.41*	1.28	
Nagelkerke's R ²	0.30	0.36	0.26	0.35	0.23	0.29	0.25	0.41	0.41
N	1278	1175	1120	963	1318	1309	1031	974	959

В клетках таблицы — коэффициенты логистических регрессий, odds ratio, зависимая переменная — голосование за радикальную правую партию. Референтные категории: возраст — 65 лет и старше; образование — высшее, степень магистра и выше. Уровни значимости: *0.05. **0.01. ***0.001.

Регрессионные результаты для Восточной Европы, полученные в таких же моделях, как для стран Запада, сведены в таблицу 6 (многие респонденты не имели мнения по вопросам, использовавшимся для конструирования показателей взглядов и убеждений, поэтому «missing data» превышает треть участников опросов).

Согласно табличным данным для Венгрии, недовольство национальными властями и политическими структурами подталкивает избирателей к предпочтению партии «Йоббик» перед ее конкурентами. Объяснительный потенциал модели (Nagelkerke's R^2) при этом заметно возрастает по сравнению с уравнением с одной социальной демографией — с 12 до 24 %. Националистические взгляды существенного значения не имели.

В Польше электорат PiS с некоторым подозрением относился к Европейскому парламенту. Определенное значение имело и негативное отношение к иммигрантам и беженцам (небольшие, но неслучайные коэффициенты, улучшение модели с 11 до 14 %). Но главным в этой стране, как уже отмечалось, было позитивное отношение избирателей этой партии к политическим переменам, вызванным приходом склонных к радикализму консерваторов во власть. Поэтому как раз удовлетворенность руководителями страны, политическими институтами и демократией оказывала в регрессиях очень сильное воздействие на голосование (статистически значимые odds ratio, по величине много меньшие единицы). Значение R^2 с учетом этого фактора достигает 51 %.

Если говорить о России, то кроме ранее описанных отчетливых возрастных различий, свидетельствующих о диспропорциональном представительстве голосующих за ЛДПР в младших возрастных категориях, ни политическая неудовлетворенность, ни националистические ориентации, как и следовало ожидать после корреляционного анализа, никак не проясняли вопроса о взглядах и позициях этого электората.

В Эстонии политическая неудовлетворенность слабо влияла (хотя статистически значимо) на голоса за EKRE. Немного сильнее было воздействие националистических представлений — значение R^2 , равное 12 % в уравнении с одной социальной демографией, увеличивается почти до 15 %. Политические и националистические ориентации, при совместном включении в уравнение регрессии, оказываются значимыми самостоятельными факторами, увеличивая этот показатель до 18 %.

Таким образом, описанные зависимости для стран Восточной Европы, вопреки встречающимся в литературе утверждениям о чуть

ли не прямо противоположных ориентациях, которые мотивируют в этих странах и на Западе голосование за радикальные правые партии, свидетельствуют, что на него скорее сходным образом воздействуют одни и те же социальные представления. Только их влияние в первых проявлялось с гораздо меньшей отчетливостью, чем во вторых. Исключение составляет Россия, в которой, кроме возрастных особенностей, других зависимостей обнаружено не было.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Проведенное исследование позволило подтвердить и уточнить сложившиеся научные представления об особенностях электората радикальных правых партий в странах Западной Европы, показав, что они диспропорционально сосредоточены в нижних общественных слоях — среди людей с невысоким уровнем образования и социально-профессионального статуса, а также в рядах избирателей младшего и среднего возраста. Признанные различия по полу, говорящие о более вероятной поддержке со стороны мужчин, чем женщин, не относятся к числу общих для изучавшихся стран закономерностей (обнаружены только в одной из четырех). Но главные отличия этого электората связаны с высоким недоверием властям и политическим институтам и неприязненным отношением к иммигрантам и беженцам. Можно утверждать, что голосование в полной мере отвечает на идеологическое предложение националистических популистских партий.

В Восточной Европе также проявлялись демографические различия, указывающие на более вероятную принадлежность избирателей радикальных партий с националистическим уклоном к младшим или средним возрастам (преобладание мужчин отмечалось только в одной из стран), но консерваторов в Польше поддерживали пожилые. Социально-экономическое структурирование, связанное с образованием и профессиональным статусом, существенной роли в голосовании не играло. Для этих избирателей характерны недовольство политикой (в Польше — удовлетворенность ею, поскольку PiS доминировала во власти) и националистические взгляды, однако эти зависимости были не такими сильными, как в западных странах. В Польше с полной определенностью действовали факторы, связанные с консервативным настроением электората — религиозностью и ценностными ориентациями на безопасность, послушание, соблюдении традиций (что связано,

Таблица 6

Основные факторы голосования за радикальные правые партии в Восточной Европе

ПЕРЕМЕННЫЕ	ВЕНГРИЯ		ПОЛЬША		РОССИЯ		ЭСТОНИЯ					
<i>Константа</i>	0.02	0.03	0.02	0.67	0.57	0.62	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ												
<i>Пол (М)</i>	1.47	1.40	1.45	0.64*	0.75	0.58**	1.10	1.05	1.15	2.21**	2.12**	2.27**
<i>Возраст:</i>												
до 24 лет	11.3***	7.62***	10.8***	0.34**	0.42*	0.40	4.27**	4.75**	3.79*	1.13	1.27	1.39
25–34	5.04**	3.96**	5.19***	0.57	0.74	0.63	2.56*	5.15**	2.85	0.90	0.91	1.02
35–44 до	9.82***	7.20***	8.95***	0.68	0.70	0.79	0.88	1.64	0.87	0.81	0.88	0.94
45–54	5.93***	4.00**	5.34***	0.68	1.19	0.98	1.95	3.17*	2.33	0.80	0.81	0.86
55–64	2.719	2.40	2.53	0.75	0.93	0.89	1.59	2.06	1.55	0.96	0.94	1.00
<i>Образование:</i>												
Ниже неполного среднего	0.00	0.00	0.00	1.71	0.53	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неполное среднее	0.75	0.88	0.86	3.33***	2.71***	2.62**	1.12	1.13	1.16	0.14*	0.16**	0.10**
Среднее, нижний уровень	1.56	1.23	1.53	2.07*	1.78	1.92				2.09	1.85	1.98
Среднее, верхний уровень	1.64	1.30	1.68	1.21	1.58	1.19	0.82	0.95	0.92	0.53	0.43*	0.35**
Продвинутое профессиональное	2.48	2.14	2.81*	0.58	1.03	0.56	1.38	1.31	1.33	0.80	0.69	0.58
Высшее, степень бакалавра				1.20	1.19	0.94	0.62	0.37	0.35	0.40	0.34*	0.32*

ПЕРЕМЕННЫЕ	ВЕНГРИЯ		ПОЛЬША		РОССИЯ		ЭСТОНИЯ	
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АТТИТЮДЫ								
Политическое недовольство	2.02***	2.25***	0.18***	0.18***	1.10	1.12	1.68**	1.44*
Недоверие Парламенту Европы	1.33*	1.16	1.85***	1.78***	0.79	0.78	1.21	0.96
НАЦИОНАЛИЗМ								
Неприятие иммиграции, беженцев		1.21		1.33***		0.91		1.82***
Неприятие интеграции Европы		0.98		1.27**		0.93		1.46*
Nagelkerke's R ²	0.24	0.13	0.51	0.14	0.07	0.08	0.11	0.15
N	811	750	922	765	872	677	1081	1112
								1046

В клетках таблицы — коэффициенты логистических регрессий, odds ratio, зависимая переменная — голосование за радикальную правую партию. Референтные категории: возраст — 65 лет и старше; образование — высшее, степень магистра и выше (в Венгрии — степень бакалавра и выше). Значимость: *0.05. **0.01. ***0.001.

по-видимому, с идеологическим позиционированием PiS между консерваторами и правыми радикалами).

Несмотря на использование широкого набора разнообразных переменных индивидуальных различий (не только рассмотренных в настоящей работе, но и практически всех хоть сколько-нибудь релевантных поставленным задачам переменных, содержащихся в данных ESS 2016), нам так и не удалось обнаружить в России ясных отличительных признаков сторонников националистической популистской риторики ЛДПР. В научной литературе, посвященной выборам в Государственную Думу, можно найти указания на такие признаки. Так, в 2016 г. анализ голосования за четыре парламентские партии с использованием опросных данных, собранных после выборов ГД, продемонстрировал, что в электорате ЛДПР можно с большей вероятностью обнаружить мужчин, чем женщины, избирателей с невысоким уровнем жизни, недовольных состоянием российской экономики, не выражающих безусловного одобрения президенту В.В. Путину, не считающих, что ситуация с коррупцией улучшилась по сравнению с советскими временами, а также тех, кто знакомится с новостями в интернете — вследствие заметного использования этой партией Сети в предвыборной кампании [Hutcheson, McAllister 2017: table 9]. Однако все эти особенности отличают голосующих за ЛДПР от тех, кто поддержал «Единую Россию». При попытке найти ее отличительные признаки от всех остальных парламентских партий, как это предполагалось в нашем сравнительном исследовании, такие зависимости могут стираться, поскольку избиратели КПРФ и «Справедливой России» разнятся со сторонниками партии власти по тем же самым признакам, что и выбравшие Либеральных демократов, кроме использования Сети. Наш дополнительный анализ также показывает, что избиратели ЛДПР, кроме чуть большего представительства в младших возрастах, действительно чаще пользуются интернетом, хотя такая связь была довольно слабой ($r=0.13$, $p<0.000$). Отвечая на ценностный вопросник, они нередко признаются (корреляции тоже слабые), что для них в жизни важны достижения ($r=0.13$, $p<0.000$). Среди ценностных ориентаций указана и «возможность повеселиться, заняться тем, что доставляет удовольствие» ($r=0.13$, $p<0.000$). Так что некоторых сторонников ЛДПР привлекает, вероятно, не столько ее идейный уклон в национализм и популизм, сколько экстравагантное поведение лидера, удовлетворяющее эту потребность.

Литература

Сафронов В.В. Голосование за радикальные правые партии в Европе: роль культурного изменения и партийной поляризации (часть 1) // *Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований*. 2018. № 6. С. 15–22.

Сафронов В.В. Голосование за радикальные правые партии в Европе: роль культурного изменения и партийной поляризации (часть 2) // *Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований*. 2019. № 1. С. 2–11.

Arzheimer K. Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980–2002 // *American Journal of Political Science*. 2009. Vol. 53, № 2. P. 259–275.

Arzheimer K. Electoral Sociology: Who Votes for the Extreme Right and Why — and When? // *The Extreme Right in Europe: Current Trends and Perspectives* / ed. by U. Backes, P. Moreau. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011. P. 35–50.

Arzheimer K., Carter E. Political Opportunity Structures and Right-Wing Extremist Party Success // *European Journal of Political Research*. 2006. Vol. 45, № 3. P. 419–443.

Arzheimer K. Explaining Electoral Support for the Radical Right // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydgren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 143–165.

Bornschieer S. Globalization, Cleavages, and the Radical Right // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydgren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 212–238.

Bustikova L. Revenge of the Radical Right // *Comparative Political Studies*. 2014. Vol. 47, № 12. P. 1738–1765.

Bušíková L. The Radical Right in Eastern Europe // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydgren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 565–581.

Coffé H. Gender and the Radical Right // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydgren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 200–211.

ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data. Data file edition 2.1. — NSD — Norwegian Centre for Research Data. Norway — Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 2016.

ESS8. Appendix A1: Education. 2016. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round8/survey/ESS8_appendix_a1_e02_2.pdf (дата обращения: 16.03.2020).

Golder M. Far Right Parties in Europe // *Annual Review of Political Science*. 2016. Vol. 19. P. 477–497.

Hutcheson D.S., McAllister I. Explaining Party Support in the 2016 State Duma Election // *Russian Politics*. 2017. Vol. 2, № 4. P. 454–481.

Ignazi P. The Silent Counter-Revolution. Hypotheses on the Emergence of Extreme Right-Wing Parties in Europe // *European Journal of Political Research*. 1992. Vol. 22, № 1. P. 3–34.

Inglehart R., Norris P. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash // *HKS Working Paper*. No. RWP16-026. 2016.

International Labour Office. International Standard Classification of Occupations: ISCO 08. Vol. I. Geneva: ILO. 2012. URL: <<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/>> (дата обращения: 16.03.2020).

Ivaresflaten E. What unites right-wing populists in Western Europe? // *Comparative Political Studies*. 2008. Vol. 41, № 1. P. 3–23.

Kehrberg J.E. The demand side of support for radical right parties // *Comparative European Politics*. 2015. Vol. 13, № 5. P. 553–576.

Kitschelt H. Growth and Persistence of the Radical Right in Postindustrial Democracies: Advances and Challenges in Comparative Research // *West European Politics*. 2007. Vol. 30, № 5. P. 1176–1206.

Kitschelt H. Party Systems and Radical Right-Wing Parties // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydgren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 166–199.

Kriesi H., Grande E., Dolezal M., Helbling M., Höglinger D., Hutter S., Wüest B. Political Conflict in Western Europe. N.Y.: Cambridge University Press, 2012. 368 p.

Kriesi H., Grande E., Lachat R., Dolezal M., Bornschie S., Frey T. West European Politics in the Age of Globalization. N.Y.: Cambridge University Press, 2008. 448 p.

Lubbers M., Coenders M. Nationalistic attitudes and voting for the radical right in Europe // *European Union Politics*. 2017. Vol. 18, № 1. P. 98–118.

Lubbers M., Gijsberts M., Scheepers P. Extreme right-wing voting in Western Europe // *European Journal of Political Research*. 2002. Vol. 41, № 3. P. 345–378.

Minkenbergh M. (ed.). Transforming the Transformation? The East European radical right in the political process. L.; N.Y.: Routledge, 2015. 376 p.

Mudde C. Populist Radical Right Parties in Europe. N.Y.: Cambridge University Press, 2007. 404 p.

Mudde C. The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave // *C-REX Working Paper Series*. 2016. № 1.

Mudde C. Politics at the Fringes? Eastern Europe's Populist, Racist, and Extremist // *The Routledge Handbook of East European Politics* / ed. by A. Fagan, P. Kopecký. L.: Routledge, 2017. P. 254–263.

Muis J., Immerzeel T. Causes and Consequences of the Rise of Populist Radical Right Parties and Movements in Europe // *Current Sociology Review*. 2017. Vol. 65, № 6. P. 909–930.

Norris P. Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. N.Y.: Cambridge University Press, 2005. 363 p.

Norris P., Inglehart R. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. N.Y.: Cambridge University Press, 2019. 564 p.

Oesch D. Explaining Workers' Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland // *International Political Science Review*. 2008. Vol. 29, № 3. P. 349–373.

Oesch D. The Class Basis of the Cleavage between the New Left and the Radical Right: an analysis for Austria, Denmark, Norway and Switzerland // *Class Politics and the Radical Right* / ed. by J. Rydren. L.: Routledge, 2012. P. 31–51.

Rooduijn M. What unites the voter bases of populist parties? Comparing the electorates of 15 populist parties // *European Political Science Review*. 2018. Vol. 10, № 3. P. 351–368.

Rydgren J. Immigration Sceptics, Xenophobes, or Racists? Radical Right-wing Voting in Six West European Countries // *European Journal of Political Research*. 2008. Vol. 47, № 6. P. 737–765.

Rydgren J. The Radical Right: An Introduction // *The Oxford Handbook of the Radical Right* / ed. by J. Rydren. N.Y.: Oxford University Press, 2018. P. 1–14.

Santana A., Zagórski P., Rama J. At Odds with Europe: Explaining Populist Radical Right Voting in Central and Eastern Europe // *East European Politics*. 2020. Vol. 36, № 2. P. 288–309.

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries // *Advances in experimental social psychology*. 1992. Vol. 25. P. 1–65.

Schwartz S.H. A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations // *European Social Survey Core Questionnaire Development*. L.: European Social Survey; City University London. 2001. P. 259–319.

Schwartz S.H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values // *Online Readings in Psychology and Culture*. 2012. Vol. 2 (1). URL: <http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116> (дата обращения: 16.03.2020).

Stockemer D., Lentz T. Mayer D. Individual Predictors of the Radical Right-Wing Vote in Europe: A Meta-Analysis of Articles in Peer-Reviewed Journals [1995–2016] // *Government and Opposition*. 2018. Vol. 53, № 3. P. 569–593.

Werts H., Scheepers P., Lubbers M. Euro-scepticism and radical right-wing voting in Europe, 2002–2008: Social cleavages, socio-political attitudes and contextual characteristics determining voting for the radical right // *European Union Politics*. 2013. Vol. 14, № 2. P. 183–205.

VOTERS OF RADICAL RIGHT PARTIES IN EUROPE: SOCIO-DEMOGRAPHICS, POLITICAL ATTITUDES, NATIONALISM

V.V. Safronov

(*vsafonov@list.ru*)

*Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences —
a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia»*

Citation: Safronov V. Izbirатели radikal'nyh pravyyh partiy v Evrope: social'naya demografiya, politicheskie attityudy, nacionalizm [Voters of radical right parties in Europe: socio-demographics, political attitudes, nationalism]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 22–63. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.5>

Abstract. *The article discusses the distinctive characteristics of voters of radical right-wing parties in Western and Eastern Europe. The patterns identified in numerous Western studies are now being questioned and there are fundamental differences between such voters in one part of the continent and another. Empirical verification of these claims was carried out using data from the European Social Survey 2016–2017 (ESS, Round 8) for four Western countries (Austria, the Netherlands, Finland and France) and four Eastern countries (Estonia, Hungary, Poland and Russia). The results allow confirming and clarifying scientific conclusions about the characteristics of the electorate of radical right-wing parties in Western Europe. In this electorate, citizens with low education and socio-professional status, younger and middle-age cohorts are disproportionately represented (the representation of men and women was similar, although there were exceptions to this rule). But the main differences of voters are related to high dissatisfaction with the authorities and political institutions, and hostility to immigrants and refugees. In Eastern Europe, voting for radical nationalist parties was also more likely to be found in younger and middle-aged groups (male predominance was also not a common pattern), but neither education nor professional status played a significant role. The voters are also characterized by discontent with politics (in Poland, satisfaction with it because the party studied won the election) and nationalistic views, but these influences were not as strong as in the Western countries. In all countries (with one exception), adherence to conservative views and values of security, obedience, and respect for tradition were not important distinguishing variables. In Russia, all structural and attitudinal*

differences, excluding age differentiation, were the least clear. The study shows that support for radical right-wing parties in Western Europe is socially structured and meets their ideological offer with a characteristic nationalist bias and populist rhetoric. Such a supply finds its supporters in the Eastern European countries that are members of the EU, but their views do not correspond to the socio-economic stratification of society.

Keywords: Radical right parties, voters, socio-demographics, political attitudes, nationalism, West and Eastern Europe, European Social Survey 2016 (ESS Round 8).

References

- Arzheimer K. Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980–2002, *American Journal of Political Science*, 2009, 53 (2), pp. 259–275.
- Arzheimer K. Electoral Sociology: Who Votes for the Extreme Right and Why — and When? In: *The Extreme Right in Europe: Current Trends and Perspectives*. Ed. by U. Backes, P. Moreau. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011, pp. 35–50.
- Arzheimer K., Carter E. Political Opportunity Structures and Right-Wing Extremist Party Success. *European Journal of Political Research*, 2006, 45 (3), pp. 419–443.
- Arzheimer K. Explaining Electoral Support for the Radical Right. In: *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 143–165.
- Bornschier S. Globalization, Cleavages, and the Radical Right. *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 212–238.
- Bustikova L. Revenge of the Radical Right. *Comparative Political Studies*, 2014, 47 (12), pp. 1738–1765.
- Bušítková L. The Radical Right in Eastern Europe. In: *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 565–581.
- Coffé H. Gender and the Radical Right. *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 200–211.
- ESS Round 8: *European Social Survey Round 8 Data*. Data file edition 2.1. — NSD — Norwegian Centre for Research Data. Norway — Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC, 2016.
- ESS8. *Appendix A1: Education*, 2016. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round8/survey/ESS8_appendix_a1_e02_2.pdf (accessed: 16.03.2020).
- Golder M. Far Right Parties in Europe. *Annual Review of Political Science*, 2016, no. 19, pp. 477–497.
- Hutcheson D.S., McAllister I. Explaining Party Support in the 2016 State Duma Election. *Russian Politics*, 2017, 2 (4), pp. 454–481.
- Ignazi P. The Silent Counter-Revolution. Hypotheses on the Emergence of Extreme Right-Wing Parties in Europe. *European Journal of Political Research*, 1992, 22 (1), pp. 3–34.

Inglehart R., Norris P. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. *HKS Working Paper*, 2016, RWP16-026.

International Labour Office. *International Standard Classification of Occupations: ISCO 08*. Vol. I. Geneva: ILO, 2012. URL: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/> (accessed: 16.03.2020).

Ivarsflaten E. What unites right-wing populists in Western Europe? *Comparative Political Studies*, 2008, 41 (1), pp. 3–23.

Kehrberg J.E. The demand side of support for radical right parties. *Comparative European Politics*, 2015, 13 (5), pp. 553–576.

Kitschelt H. Growth and Persistence of the Radical Right in Postindustrial Democracies: Advances and Challenges in Comparative Research. *West European Politics*, 2007, 30 (5), pp. 1176–1206.

Kitschelt H. Party Systems and Radical Right-Wing Parties. In: *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 166–199.

Kriesi H., Grande E., Dolezal M., Helbling M., Höglinger D., Hutter S., Wüest B. *Political Conflict in Western Europe*. New York: Cambridge University Press, 2012. 368 p.

Kriesi H., Grande E., Lachat R., Dolezal M., Bornschie S., Frey T. *West European Politics in the Age of Globalization*. New York: Cambridge University Press, 2008. 448 p.

Lubbers M., Coenders M. Nationalistic attitudes and voting for the radical right in Europe. *European Union Politics*, 2017, 18 (1), pp. 98–118.

Lubbers M., Gijsberts M., Scheepers P. Extreme right-wing voting in Western Europe. *European Journal of Political Research*, 2002, 41 (3), pp. 345–378.

Minkenberg M. [ed.]. *Transforming the Transformation? The East European radical right in the political process*. London; New York: Routledge, 2015. 376 p.

Mudde C. *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press, 2007. 404 p.

Mudde C. The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave. *C-REX Working Paper Series*, 2016, 1.

Mudde C. Politics at the Fringes?: Eastern Europe's Populist, Racist, and Extremist. In: *The Routledge Handbook of East European Politics*. Ed. by A. Fagan, P. Kopecký. London: Routledge, 2017, pp. 254–263.

Muis J., Immerzeel T. Causes and Consequences of the Rise of Populist Radical Right Parties and Movements in Europe. *Current Sociology Review*, 2017, 65 (6), pp. 909–930.

Norris P. *Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market*. New York: Cambridge University Press, 2005. 363 p.

Norris P., Inglehart R. *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. New York: Cambridge University Press, 2019. 564 p.

Oesch D. Explaining Workers' Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland. *International Political Science Review*, 2008, 29 (3), pp. 349–373.

Oesch D. The Class Basis of the Cleavage between the New Left and the Radical Right: an analysis for Austria, Denmark, Norway and Switzerland. In: *Class Politics and the Radical Right*. Ed. by J. Rydren. London: Routledge, 2012, pp. 31–51.

Rooduijn M. What unites the voter bases of populist parties? Comparing the electorates of 15 populist parties. *European Political Science Review*, 2018, 10 (3), pp. 351–368.

Rydgren, J. Immigration Sceptics, Xenophobes, or Racists? Radical Right-wing Voting in Six West European Countries. *European Journal of Political Research*, 2008, 47 (6), pp. 737–765.

Rydgren J. The Radical Right: An Introduction. In: *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Ed. by J. Rydgren. New York: Oxford University Press, 2018, pp. 1–14.

Safronov V.V. Golosovaniye za radikalnyye pravyye partii v Evrope: rol kulturnogo izmeneniya i partiynoy polyarizatsii (Chast 1) [Voting for radical right parties in Europe: the role of cultural change and party polarization (Part 1)]. *Teleskop: zhurnal sotsiologicheskikh i marketingovykh issledovaniy*, 2018, 6, pp. 15–22. (In Russian)

Safronov V.V. Golosovaniye za radikalnyye pravyye partii v Evrope: rol kulturnogo izmeneniya i partiynoy polyarizatsii (Chast 2) [Voting for radical right parties in Europe: the role of cultural change and party polarization (Part 2)]. *Teleskop: zhurnal sotsiologicheskikh i marketingovykh issledovaniy*, 2019, 1, pp. 2–11. (In Russian)

Santana A., Zagórski P., Rama J. At Odds with Europe: Explaining Populist Radical Right Voting in Central and Eastern Europe. *East European Politics*, 2020, 36 (2), pp. 288–309.

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in experimental social psychology*, 1992, 25, pp. 1–65.

Schwartz S.H. A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. *European Social Survey Core Questionnaire Development*. London: European Social Survey; City University London, 2001, pp. 259–319.

Schwartz S.H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2012, 2 (1). URL: <http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.11116> (accessed: 16.03.2020).

Stockemer D., Lentz T., Mayer D. Individual Predictors of the Radical Right-Wing Vote in Europe: A Meta-Analysis of Articles in Peer-Reviewed Journals (1995–2016). *Government and Opposition*, 2018, 53 (3), pp. 569–593.

Werts H., Scheepers P., Lubbers M. Euro-scepticism and radical right-wing voting in Europe, 2002–2008: Social cleavages, socio-political attitudes and contextual characteristics determining voting for the radical right. *European Union Politics*, 2013, 14 (2), pp. 183–205.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ

ПОНЯТИЕ «НАРОД» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ЭЛИТ¹

В.А. Ачкасов

(val-achkasov@yandex.ru)

*Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия*

Цитирование: Ачкасов В.А. Понятие «народ» в политическом дискурсе элит // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 64–76.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.3>

Аннотация. *Прослеживается эволюция содержания понятия «народ» в политическом дискурсе элит. В результате выясняется, что понятие «народ», как правило, является «пустым означающим», смысл которого проясняется и актуализируется в самом акте называния и противопоставления его «не народу». Отдельно автор рассматривает содержание этого понятия в российском политическом дискурсе, а также пытается понять причины наделения русского народа статусом «государствообразующего».*

Ключевые слова: *народ, нация, дискурс политических элит, суверенитет, самоопределение, исключение.*

¹ Исследование выполнено за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект №20-011-3107/20) «Этнополитические конфликты в современном мире: постсоветский контекст».

Понятие «народ» чрезвычайно востребовано в политическом дискурсе элит, по крайней мере с европейского Нового времени. Достаточно вспомнить, что на «великой фикции» — принципе суверенитета народа — построено все грандиозное здание конституционализма. Как иронически заметил Бертольд Брехт, «власть исходит от народа. Но куда она приходит?» «Отсутствие народа» в процессе правления задается и классическим шумпетеровским определением демократии: «Демократия не означает и не может означать то, что народ действительно правит в каком-то очевидном смысле понятий “народ” и “правление” <...> Демократия есть правление политиков» [Шумпетер 1995: 284–285].

При этом понятие «народ», используемое в дискурсе элит, как правило, является «пустым означающим», смысл которого выясняется и актуализируется в самом акте называния и противопоставления его «не народу» и его исключения из «народа». Другими словами, у «народа» нет существующего в реальности референта, «народ» возникает в процессе конструирования элитами народной идентичности. Однако право номинации народа и право «быть народом» всегда оспаривалось и оспаривается, и это объяснимо, «быть народом» — высокая легитимационная ценность, поскольку ссылка на народ прекрасно подходит для того, чтобы, с одной стороны, пробудить «мы» — чувства и солидарность и, с другой — вызвать неприязненное отношение к иным («не народу»).

В свою очередь, процесс конструирования «народа» («народной» идентичности) проходит через два этапа: на первом этапе происходит (дискурсивное) нивелирование классовых, социальных и других различий между людьми (происходит «деидентификация») и далее реконструируется общая транссекциональная коллективная идентичность (происходит «реидентификация») [Panizza 2005: 5]. Как заметил Юрген Хабермас, «идея единого, однородного подлинного народа (которой оперируют многие политики. — В.А.) не более чем фантазия, «народ» возможен только во множественном числе» [Мюллер 2019: 18].

Однако какие человеческие коллективы с точки зрения элит могут претендовать на статус народа? Айвор Дженнингс писал, критикуя доктрину самоопределения: «На первый взгляд она кажется разумной: пусть народ решает. На самом деле она смешна, потому что народ не может решать, пока кто-то не решит, кто является народом» [Jennings 1956: 56].

Так, во всех политико-философских концепциях «общественного договора» народ наделяется единой волей и политический субъектно-

стью. Тем самым он противопоставляется «массам» или «черни», такой субъектностью не наделенным и потому в народ не включенным. «Но если у Гоббса такое единство задается добровольным подчинением частных лиц суверену, которое реализуется посредством общественного договора, то уже у Руссо то же единство и та же субъектность есть следствие самоконституирования народа, превращающего конгломерат частных лиц в «политический организм», обладающий «общей волей», т.е. в народ в собственном смысле слова» [Капустин 2015: 34–35]¹.

Действительно, одна из первых проблем, возникающих при описании либеральной демократии, — определение границ народа как **сообщества граждан**, участвующих в политическом процессе, т.е. проблема политического самоопределения и ценностного базиса консолидации национального государства. Однако проекция понятия «народ» на наличные в обществе конца XVIII в. социальные группы поставила трудный вопрос о том, какие из них относятся к «народу-суверену». Вариант решения этой проблемы предложил Ш. Монтескье. С одной стороны, отвечая на вопрос, что такое демократия, он характеризует ее как режим, в котором «власть принадлежит всему народу» [Монтескье 1955: 169]. С другой стороны, переходя к анализу реальной ситуации в обществе, Монтескье заключает, что все демократии зависят от того, как «народ разделен на определенные классы» и «какими правами они наделены в плане участия в демократии». В результате вы-

¹ Не случайно позже, в XIX–XX вв., в центре критики противников демократии неизменно оказывалась метафизическая теория «общей воли» Ж.-Ж. Руссо, которая неоднократно служила обоснованием последовательного делегирования полномочий «народа» правящему меньшинству и стала политической формулой легитимации власти экстремистских революционных элит — от якобинцев до большевиков, согласно логике которых, «народ», не поддерживающий принципов демократии, просто не понимает собственных интересов, нуждается в просвещении, а пока должен быть понуждаем с помощью насилия к подчинению власти — носителю этого знания. Реализация демократического идеала в этом случае откладывается до достижения народом-сувереном необходимой степени зрелости и просвещенности. Результатом же неизменно становится диктатура меньшинства — носителя знания «общей воли» народа. Поэтому идеал демократии как непосредственного правления народа есть опасная абстракция, которая на практике ведет к тотальному господству группы или лидера от имени всего «народа», установлению режима тирании «волей народа».

ясняется, что из «всего народа» должен быть исключен «низкий народ», т.е. те, «положение которых так низко, что на них смотрят как на людей, неспособных иметь собственную волю», более того, «при народном правлении власть не должна переходить в руки низшего слоя населения». Справедливости ради отметим, что Монтескье не относил к народу и «отличающихся преимуществами рождения, богатства или почестей», т.е. знать [Монтескье 1955: 293, 294].

Значение слова «народ» определял и И. Кант, проведший также различие между понятиями «народ» и «нация»: «Под словом народ (*populus*) понимают объединенное в той или другой местности множество людей, поскольку они составляют одно целое. Это множество или часть его, которая ввиду общего происхождения признает себя объединенной в одно гражданское целое, называется нацией (*gens*), а та часть, которая исключает себя из этих законов (дикая толпа в этом народе) называется чернью (*vulgus*), противозаконное объединение которой называется скопищем (*agreg per turbas*); это такое поведение, которое лишает их достоинства граждан» [Кант 1994: 350].

Таким образом, в Новое время понятие «народ»/«нация» тесно связывается с идеей народного суверенитета и трактуется как политическая категория, впрочем, не включающая все население территориального государства. «Принцип “народного суверенитета”, — отмечает Б. Як, — всего лишь требует, чтобы государство получало свою власть от тех людей, которые его населяют. Он ничего не говорит о составе народа или о том, в какой степени его членам нужно отождествляться друг с другом» [Як 2017: 408]. Поэтому в годы Великой французской революции из числа граждан — членов французской нации, равной «народу-суверену», исключался не только «низкий народ» — французское крестьянство, но и представители привилегированных сословий. В связи с этим можно вспомнить концепцию жирондиста аббата Э.Ж. Сийеса, который, видимо, одним из первых для обоснования исключения из нации использовал исторические аргументы. Так, Сийес причисляет к числу членов французской нации только представителей «третьего сословия» (которые, по его мнению, были потомками галлов и римлян), и отказывает в принадлежности к французской нации аристократии как потомкам норманнов — завоевателей. Он, в частности, писал: «Третьему сословию нечего бояться идти вглубь веков. Оно найдет себя во времена еще дозавоевательные и, имея сегодня достаточно сил,

чтобы дать отпор, окажет ныне куда более мощное сопротивление. Почему не низвергнет оно в леса Франции все эти семейства, лелеющие безумную претензию на происхождение от расы завоевателей и на их права? Очистившись таким образом, нация вполне будет вправе, как я полагаю, назвать среди своих предков лишь галлов и римлян» (цит. по: [Фюре 1998: 12]).

Позднее сторонники идеи народного суверенитета стали рассматривать «народ» как некий исходный материал, из которого в рамках территориального государства может сформироваться «нация» как межпоколенческое политическое сообщество, связанное прочными субъективными узами взаимной лояльности. В англоязычной литературе появляется даже специальный термин «would-be-nation». В соответствии с этим взглядом понятие «народ» используется для обозначения как бы низшего уровня национальной интеграции.

Кстати, в истории русской мысли можно найти близкое по смыслу толкование соотношения этих двух понятий. Так, по мнению В. Белинского, «“народ” и “нация” представляют собой два уровня социальной реальности и достижений в культуре. Под “народом” прежде всего разумеется низший слой государства, “нация” же выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства». Соответственно, «в народе еще нет нации, но в нации есть и народ, Песни Кириши Данилова есть произведение народное, стихотворение Пушкина есть произведение национальное; первая доступна и высшим (образованнейшим) классам общества, но второе доступно только высшим (образованнейшим) классам и недоступно разумению народа, в тесном и собственном значении этого слова». Задача, следовательно, сводится к тому, чтобы поднять народ до уровня образованного общества и выковать на его основе нацию в европейском духе [Белинский 1978: 36].

Только в XX в., когда закончился процесс «превращения крестьян во французов» народ стал пониматься как нечто целое (т.е. народ — это все члены политики, т.е. нация-согражданство). «Если под народом подразумевается “согражданство”, население страны, — пишет сегодня В.А. Тишков, — понятие “нация” носит более строгий, политизированный характер. Оно нагружается символическими и эмоциональными смыслами, но, по сути, подразумевает народ в смысле государственного территориального сообщества» [Национализм в мировой истории... 2007: 558]. Однако следует помнить, что, по словам В. Малахова, проблематика гражданства — это тоже прежде всего проблематика исклю-

чения [Гражданство и иммиграция... 2013: 9]. Тем более что параллельно левыми и правыми радикалами формировалось и альтернативное понимание «народа», противопоставляемого элитам и включавшего только «простых людей» (т.е. ту часть *res publica*, которая состоит из обездоленных, бесправных, исключенных и забытых). В таком смысле понятие «народ» и сегодня активно используется политиками популистами как левого, так и правого толка.

В то же время в условиях Восточной и Юго-Восточной Европы, отличающихся чрезвычайной этнической мозаичностью, с одной стороны, и длительным существованием здесь государств имперского типа, с другой стороны, понятие «народ» трактовалось не столько в политическом смысле, сколько как этническая и культурно-языковая общность, а воспроизводство народа — как доказательство жизненной устойчивости и полноценности данной общности. Обретение же «народом» своей государственности превращало его в этнонацию.

Подводя некоторый итог обсуждению содержания понятия «народ», Б. Капустин пишет: «1. Народ всегда есть некое сконструированное, а не “органическое” и “субстанциональное” сообщество... 2. Народ всегда “воображается” как универсальный, как “весь народ” (в противоположность нации, всегда “воображаемой” как нечто особенное, наряду с другими нациями), но эта универсальность конституируется исключением, т.е. превращением некоторой части “всего народа” в “не народ”... 3. В политическом воображении современности “народ”, как бы ни определялось это понятие, есть суверен, даже тогда, когда он не обладает никакой реальной субъектностью и полностью растворен в деполитизированных конгломератах типа “народонаселение” или “электорат”» [Капустин 2015: 39–41].

Заметим, что в нашем отечестве и сегодня доминирует понимание народа как этнокультурной общности и народ отождествляется с нацией. Так, в национальных республиках России утверждают: «Любая этнонация — это и есть народ. Сказать “русский народ” или “русская нация” (в этническом смысле) — это одно и то же. Ни одна нация не согласится с тем, что она не является народом» [Фарукшин 2013: 67]. При этом народ рассматривается в дискурсе элит как однородное, целостное социальное образование, в котором некий коллективный интерес доминирует над индивидуальными интересами личности.

В связи с этим возникает вопрос: кто является носителем суверенитета в РФ и в национальных республиках РФ? Согласно Конституции

РФ, это «многонациональный народ России», но не «русская нация»¹. Однако если этнонация — это и есть народ, то в национальных республиках, видимо, субъектом самоопределения и носителем суверенитета является титульная этнонация, равная народу? Так, в Конституции Удмуртии территориальное сообщество делится на удмуртскую нацию и народ Удмуртии, которые, получается, противопоставляются друг другу.

Причем стремление сделать приоритетом политики реализацию интересов лишь титульного этноса/народа/нации не может быть оправдано ни с позиций права, ни с позиций политической логики. Тем не менее отечественные юристы «даже международно-правовые документы и декларации о самоопределении народов и т.п. умудрились изложить на языке этнического национализма, хотя международное право понимает под категорией “народ” территориальное сообщество (“демос”, а не “этнос”) и не признает этнический партикуляризм в качестве государствообразующего принципа» [Национализм в мировой истории... 2007: 579].

Доставшаяся от советского прошлого трактовка государственности республик в составе РФ как формы политического самоопределения «титульного этноса/этнонации» в условиях, когда границы расселения народов далеко не совпадают с границами национальных республик (только треть народов, давшие наименование республикам и автономным образованиям (всего их в РФ — 30) проживает в их пределах, а в большинстве из них так называемая «титульная нация» по своей численности составляет менее половины населения), ведет к этнизации проблемы самоопределения и имеет следствием соответствующее распределение властных полномочий, выбор принципов подбора кадров

¹ Поскольку эксперты давно предупреждали о потенциальных конфликтах, связанных с тем, что в Конституции России говорится о «многонациональном народе», В.А. Тишков недавно предложил своего рода компромисс: «...дополнить общественно-политический язык понятием “российский народ-нация” при сохранении использования категории “нация” в отношении этнических общностей страны (народов или национальностей). Такова общемировая практика, и России нет смысла изобретать велосипед по части использования категории “нация”» [Тишков 2013: 9]. Однако тремя годами ранее он же писал: «Нация и этническая общность имеют разные основы идентификации: территориальная для государства (нации) и культурная для этнических общностей. Они никогда не совпадают» [Тишков 2010: 17].

и дискриминацию представителей нетитульных народов (т.е. продолжение советской политики «коренизации»). В 1990-е годы идея неравенства прав народов нашла воплощение в планах реформирования парламентов в республиках и национальных округах России, которая имела несколько вариантов. По одному из них представителям титульных народов во властных структурах в целом и в парламентах в частности должно быть гарантировано 50 % мест независимо от их доли в общей численности населения. Согласно другому варианту, получившему поддержку прежде всего у активистов финно-угорских народов РФ, «парламенты в финно-угорских республиках должны состоять из двух палат. Одна из них формируется на основе всеобщего равного прямого избирательного права, а другая должна состоять только из представителей титульных этносов. При этом вторая палата должна обладать правом вето.

Ясно, что практическая реализация подобной идеи означала бы отказ от общедемократического принципа проведения прямого, равного и тайного голосования во время общереспубликанских выборов и сверхпредставительство титульных этносов. Общество в результате было бы разделено на две группы, обладающие разными политическими правами, что неизбежно усиливало опасность возникновения этнополитических конфликтов, поскольку чем больше в обществе бинарных маркеров, тем выше потенциал конфликтности» [Шабаев, Чарина 2008: 98–99].

Таким образом, принцип национально-территориального устройства немало поспособствовал тому, что в сознании людей каждая «нация» ассоциируется со «своей» территорией. Отсюда неизбежно возникает дискурс «принадлежности» («коренные») и «исключения» («пришлые») и встает вопрос о допустимости реализации «не кореными» тех или иных прав (в том числе права на этнокультурное самовыражение) на «чужой» территории. Возможный результат такой политической практики — формирование клановой и этнической солидарности и усиление межэтнической напряженности.

Логика конституционного закрепления особой миссии титульной этнической группы на «исконной» территории, казалось бы, требует, чтобы и русский народ был маркирован таким же образом, как и в национальных республиках, где законодатели сочли возможным внести в Основные законы подобные формулировки. Например, это могло звучать примерно так: «Формирование Российского государства связано с многовековым проживанием на его территории русского народа как

народа государствообразующего». Но этого до недавнего времени не было сделано, ибо этничность не может служить основой для государственности и международное право не признает за этническими группами право на политическое самоопределение. Есть только право народа (как гражданского, а не этнического сообщества) на самоопределение.

Однако следует заметить, что вопрос о закреплении особого политического статуса русского народа волновал давно и многих, причем не только так называемых «национал-патриотов». Так, ходе парламентских слушаний (октябрь 1996 г.) на тему «Русская идея на языке законов России» появился проект заявления Государственной Думы «О правах русского народа на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве», а позднее целая череда проектов «Закона о русском народе» [Конституция... 2006; О русском народе 2006; Севастьянов 2017; 2020], важнейшей исходной посылкой которых являются суждения о «нереализованном праве русского народа на самоопределение» и о том, что «в нынешнюю пору общественного развития России право нации (понимаемой как этнокультурная общность. — В.А.) следует ставить выше прав человека» и т.д.

Как результат, социологи сегодня выяснили, что закрепленное в Конституции РФ равноправие всех народов так и не стало общепризнанной нормой. С тем, что все граждане России, вне зависимости от национальности, должны обладать равными правами, солидарны только 64 % россиян. Каждый третий (31 %) полагает, что русские должны иметь в России больше прав, чем другие народы. Причем идею привилегированности русских вдвое чаще разделяют сами русские, чем представители других народов (34 против 15 % в среднем). В целом же 37 % граждан России выступают за то, чтобы русские в Российской Федерации и «коренные» народы в национальных республиках и округах имели больше прав, чем другие [Хайкин, Бережкова 2016: 105–106]¹.

Поэтому, как представляется, наделение русских статусом «государствообразующего» народа в результате принятия в 2020 г. соответствующей поправки Конституции РФ стало шагом к «символическому

¹ Правда, по данным опроса ФОМ в 2019 г., только 23 % опрошенных были уверены, что русские в России должны иметь больше прав, чем люди других национальностей, 73 % — за равенство прав [Межнациональные отношения в России 2019].

возвышению русского народа до положения старшего брата»¹ и тем самым закрепило неравенство граждан страны (ст. 68 (1) Конституции РФ). Однако эта поправка, как и ранее предпринятая неудачная попытка создания проекта «Закона о российской нации», представляет собой пример юридического нонсенса².

Впрочем, народ рассматривается российскими политическими элитами преимущественно как пассивный участник исторического процесса, правда, способный периодически «выражать “мнения” о том, что с ним творят» [Капустин 2015: 38], однако политически эти мнения несущественны и, как правило, не учитываются в процессе принятия значимых решений.

Литература

Белинский В. Россия до Петра Великого // Белинский В. Собр. соч.: в 9 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 4. С. 8–64.

Гражданство и иммиграция: концептуальное, историческое и институциональное измерение: сб. статей / под ред. В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой. М.: Изд. ИКАР, 2013. 266 с.

Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 4. С. 349–587.

Капустин Б. Народ в отсутствие народа, или О взгляде на посткоммунизм снизу // Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М.: Изд-во МГУ, 2015. С. 27–71.

Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. 803 с.

Мюллер Я.-В. Что такое популизм? М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 144 с.

Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. 601 с.

Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. М.: Просвещение, 2010. 191 с.

¹ У многих комментаторов эта конституционная поправка вызывает стойкие ассоциации со знаменитой формулировкой И. Сталина 1945 г.: «Русские — старшие братья в семье равноправных народов СССР».

² Юридический нонсенс — это бессмысленная правовая норма. Последние годы ознаменовались довольно объемным портфелем подобных правовых норм. Законодатели всех уровней стараются показать свою деловую активность. Принимаются тысячи законов, среди которых легко обнаружить и юридический нонсенс [Что такое юридический нонсенс 2020].

Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013. 649 с.

Фарукишин М.Х. Этничность и федерализм. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 348 с.

Фюре Ф. Постижение французской революции. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 219 с.

Шабает Ю.П., Чарина А.М. Региональные этноэлиты в политическом процессе (финно-угорское движение: становление, эволюция, идеология, лидеры). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2008. 256 с.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. 540 с.

Як Б. Национализм и моральная психология сообщества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 517 с.

Jennings I. W. The Approach to Self-Government. N.Y.: Cambridge University Press, 1956. viii+204 p.

Panizza F. Populism and the mirror of democracy // Populism and the Mirror of Democracy / ed. F. Panizza. L.: Verso Books, 2005. 358 p.

Источники

Конституция русского государства (России) // Сайт «Севастьянов Александр Никитич». 01.04.2006. URL: <https://sevastianov.ru/proekty/konstitutsiya.html> (дата обращения: 10.04.2006).

Межнациональные отношения в России: как оцениваются шансы, возможности людей разных национальностей получить работу, реализоваться // ФОМ. 14.01.2019. URL: <https://fom.ru/Nastroeniya/14157> (дата обращения: 12.04.2019).

О русском народе. Конституционный федеральный закон (проект) // Сайт «Севастьянов Александр Никитич». 03.04.2006. URL: <https://sevastianov.ru/natsionalnaya-gazeta.html/2003/101-russkoe-agentstvo-svyazi-i-analitiki-rasa.html> (дата обращения: 10.04.2006).

Севастьянов А.И. Битва за русских продолжается // Сайт «Севастьянов Александр Никитич». 13.07.2017. URL: <https://sevastianov.ru/stati/prochie-stati/682-bitva-za-russkikh-prodolzhaetsya.html> (дата обращения: 12.05.2020).

Севастьянов А.И. Время менять конституцию // Сайт «Севастьянов Александр Никитич». 27.02.2020. URL: <https://sevastianov.ru/proekty/konstitutsiya/21-ideologiya/konstitutsiya/317-vremya-menyat-konstitutsiyu.html> (дата обращения: 12.05.2020).

Хайкин С.Р., Бережкова С.Б. Социологический мониторинг межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей // Мониторинг общественного мнения. № 5 (135), сентябрь-октябрь, 2016. С. 97–110.

Что такое юридический нонсенс? // QQ.BY — вопросы и ответы в Беларуси. URL: <http://qq.by/7295-что-такое-yuridicheskiy-nonsens.html> (дата обращения: 12.05.2020).

THE CONCEPT OF “PEOPLE” IN THE POLITICAL DISCOURSE OF ELITES

V. Achkasov

(val-achkasov@yandex.ru)

St. Petersburg State University,

St. Petersburg, Russia

Citation: Achkasov V. Ponyatiye «narod» v politicheskom diskurse elit [The concept of “people” in the political discourse of elites]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 64–76. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.3>

Abstract. *The article traces the evolution of the concept of “people” in the political discourse of elites. As a result, it turns out that the concept of “people” is usually an “empty signifier”, the meaning of which is clarified and updated in the very act of naming and contrasting it with “not the people”. The author examines the content of this concept in the Russian political discourse and also finds out the reasons for granting the Russian people the status of “state-forming”.*

Keywords: *people, nation, political elite discourse, sovereignty, self-determination, exclusion.*

References

Belinsky V. Rossiya do Petra Velikogo [Russia before Peter the Great]. In: Belinsky V. *Collected works* in 9. Moscow: Fiction, 1978, vol. 4, pp. 8–64. (In Russian)

Farukshin M.H. *Etnichnost' i federalizm* [Ethnicity and federalism]. Kazan': Center for innovative technologies, 2013. 348 p. (In Russian)

Fuhre F. *Postizheniye frantsuzskoy revolyutsii* [Comprehending the French Revolution]. St. Petersburg: INAPRESS, 1998. 219 p. (In Russian)

Grazhdanstvo i immigratsiya: kontseptual'noye, istoricheskoye i institutsional'noye izmereniye: sbornik statey [Citizenship and immigration: conceptual, historical and institutional dimension: a Collection of articles]. Ed. by V.S. Malakhov, A.F. Yakovleva. Moscow: Izd. ICARUS, 2013. 266 p. (In Russian)

Jennings I.W. *The Approach to Self-Government*. New York: Cambridge University Press, 1956. viii+204 p.

Kant I. Antropologiya s pragmaticheskoy tochki zreniya [Anthropology from a pragmatic point of view]. In: Kant I. *Works* in 4 vols. Moscow: Choro, 1994, vol. 4, pp. 349–587. (In Russian)

Kapustin B. Narod v otsutstviye naroda ili o vzglyade na postkommunizm snizu [The People in the absence of the people or on the view of post-communism from below]. In: *Chetvert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, reformy* [A quarter of a century after the USSR: people, society, reforms]. Ed. by E.B. Shestopal, A.Y. Shutov, V.I. Yakunin. Moscow: Moscow State University Publ., 2015, pp. 27–71. (In Russian)

Montesquieu Sh. *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected works]. Moscow: Gospolitizdat, 1955. 803 p. (In Russian)

Muller Ya.-V. *Chto takoye populizm?* [What is populism?] Moscow: Publishing house of the Higher school of Economics, 2019. —p. (In Russian)

Natsionalizm v mirovoy istorii [Nationalism in world history]. Ed. by V.A. Tishkov, V.A. Shnirelman. Moscow: Nauka, 2007. 601 p.

Panizza F. Populism and the mirror of democracy. In: *Populism and the Mirror of Democracy*. Ed. by F. Panizza. London: Verso Books, 2005. 358 p.

Schumpeter J.A. *Kapitalizm, sotsializm i demokratiya* [Capitalism, socialism and democracy]. Moscow: Ekonomika, 1995. 540 p. (In Russian)

Shabaev Yu.P., Charina A.M. *Regional'nyye etnoelity v politicheskom protsesse (finno-ugorskoye dvizheniye: stanovleniye, evolyutsiya, ideologiya, lidery)* [Regional ethno-elites in the political process (Finno-Ugric movement: formation, evolution, ideology, leaders)]. Syktyvkar: KRAGSiU, 2008. 256 p. (In Russian)

Tishkov V.A. *Rossiyskiy narod: istoriya i smysl natsional'nogo samosoznaniya* [Russian people: history and meaning of national self-consciousness]. Moscow: Nauka, 2013. 649 p. (In Russian)

Tishkov V.A. *Rossiyskiy narod: kniga dlya uchitelya* [Russian people: a book for teachers]. Moscow: Prosveshchenie, 2010. 191 p. (In Russian)

Yak B. *Natsionalizm i moral'naya psikhologiya soobshchestva* [Nationalism and moral psychology of the community]. Moscow: Publishing house of the Gaidar Institute, 2017. 517 p. (In Russian)

«ПАТРИОТИЗМ ЭЛИТ» КАК ДИСКУРСИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ¹

К.Ф. Завершинский

(zavershinskiy200@mail.ru)

*Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия*

Цитирование: Завершинский К.Ф. «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 77–96.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.4>

Моральная интеграция общества и коллективная идентичность на основе кодекса патриотизма преодолела региональные и иерархические различия; такая идентичность, казалось бы, разрывающая связь с естественными и личностными корнями, основанная на представлении об анонимной ответственности, подготовила возникновение идеи современного общества, где взаимосвязь индивидов осуществляется на основе соотнесенности с идеями равенства, морали и гражданских добродетелей [Eisenstaedt, Giesen 1995: 87–88].

***Аннотация.** Рассматривается значение исследования места и роли дискурса патриотизма для процесса политической идентификации современных элит. Автор полагает, что доминирование ценностно-нормативных и позитивистских исследовательских стратегий при изучении политических коммуникаций элит только частично отражает качественные изменения в процессах их политической идентификации. Более перспективными являются исследовательские стратегии современной культурсоциологии политических феноменов, которые позволяют интерпретировать мобильность политической идентификации элит с позиций динамики символических структур национальной памяти. Ис-*

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31690/20.

исследование влияния символических структур национальной памяти на процесс политической идентификации элит позволяет более адекватно выявить роль дискурса патриотизма в социальном конструировании пространства политической солидарности в современных национальных сообществах. Важную роль в исследовании политической идентификации элит играет изучение влияния профилей легитимации национальной памяти на специфику их патриотической/непатриотической идентификации, позволяющее учитывать специфику конкуренции символических репрезентаций образов прошлого и будущего, типологии героического, представлений о вине и ответственности элит. Используя теоретические посылы культурысоциологического анализа современной политической культуры как национальной памяти в качестве методологической основы, автор предлагает новый теоретический подход к изучению феномена «патриотизм элит».

Ключевые слова: *политические элиты, политическая коммуникация, национальная память, политическая солидарность, дискурс патриотизма.*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность обращения к исследованию места и роли дискурса патриотизма в социокультурной динамике политической идентификации элит в символическом пространстве современной национальной памяти обусловлена растущей фрагментацией геополитического порядка и резким возрастанием амбивалентного влияния культурных, символических ресурсов на институциональную и организационную динамику властных элит. В этом контексте односторонним выглядит описание политической идентификации политических элит исключительно как результата их институциональной и организационной динамики, практик целеполагания в процессе их внутри- и внешнеполитического позиционирования, внутриэлитного или межэлитного взаимодействия при принятии политических решений.

Значимость подобных теоретических посылок возрастает в реалиях современных политических коммуникаций, когда наблюдается углубление кризиса идентичности национальных и транснациональных элит. Прогнозы об отмирании мифологии национального государства, «европеизации» и «космополитизации элит», преодоления рисков «нового глобального класса» под эгидой США посредством «реалистического либерального космополитизма» [Бек 2008] не сбываются. Все очевиднее возрастание влияния популистских и имперских моделей идентифика-

ции и архаизации практик политической консолидации элит на основе партикулярных кодексов солидаризации. Не исключение в этом отношении и коммуникативное пространство современной России. Авторитетные представители российской элитологии, анализируя направленность исследований феномена элиты и особенности ее политической идентичности, отмечают, что изменения в структуре российской элиты в последнее десятилетие свидетельствуют о переходе российской политической элиты от системы «разделения кланов» (суррогата разделения властей) к модели встроенности подобных кланов в вертикали власти и связанные с этим острые внутриэлитные конфликты [Гаман-Голутвина 2016: 87–88]. В постперестроечной России использование элитами культурного капитала в процессе их легитимации и публичной самопрезентации все очевиднее приобретает политико-инструментальный характер, который в рамках современных либеральных представлений проявляется в индивидуальной автономизации политиков, возрастанию цинизма, беспардонности как принципа деятельности публичных акторов: персональной смене политической идентичности, перехода из одного лагеря в другой, релятивности морально-политического пространства, продуцировании безответственных перед людьми и страной делегитимирующих суждений [Дука 2018: 128–131].

Это актуализирует проблему возвращения и теоретической реконструкции патриотических кодексов идентификации национальных элит с учетом реалий современных политических коммуникаций, способных преодолеть рост насилия внутри национальных и больших политических пространств, выработку в перспективе контуров нового, более устойчивого политического порядка. В свое время именно «патриотизм привел к возникновению более сложной формы коллективной идентификации, преодолевающей ограниченность идентичности, основанной на сословной или региональной идентичности» [Eisenstaedt, Giesen 1995: 87]. Изучение места и роли дискурса патриотизма элит, его эволюции и инволюции в национальном и глобальном пространствах приобретает особую значимость в условиях нарастания неопределенности в социальном воспроизводстве экономических, политических и символических границ политических общностей. Актуализирует подобное исследование происходящая в современном мире смена и поколений элит, и их политико-культурной идентичности.

Актуальными в связи с этим выглядят теоретические ремарки Н. Лумана при описании процессов идентификации и социализации.

Луман отмечал, что идентичности и их дискурсивные проекции «задумываются для связи ожиданий» [Луман 2007: 413], которые конституируются при их включенности в темпоральные символические структуры коммуникативных событий (социальной памяти), что обеспечивает устойчивость динамической репродукции комплекса подобных ожиданий. При исследовании политической социализации и идентификации элит важно учитывать, что это всегда «самосоциализация» в коммуникативном пространстве национальной памяти, а не просто поддержание или перенос ценностно-нормативных, идеологических моделей целеполагания. Политическую идентификацию элит как возникновение/разрушение смыслового единства (политического понимания) никогда нельзя целиком сводить к целеполаганию взаимодействующих, поскольку их действия, интересы и мотивы в процессе коммуникации обретают новое смысловое измерение. Идентифицируют и социализируют не действия, а их включенность в символические структуры событий, связывающих ожидания, что и порождает коммуникативное понимание/непонимание [Луман 2007: 319–321, 413].

В этом методологическом контексте значимой задачей специфики исследования дискурса патриотизма, видится разработка междисциплинарной методологии политико-культурных исследований в целях научного прогнозирования процесса политической идентификации и легитимации национального позиционирования политических элит современной России. Исследование этого процесса в семантическом и категориальном фокусе «национальной политической памяти» позволяет отвечать на вопрос, какие символические структуры определяют специфику дискурса патриотизма в том или ином национальном сообществе и каким образом многослойность дискурсов патриотизма «имеет значение» для действенной прагматики политической идентификации элит и легитимации национальных политических систем. Это позволяет теоретически и эмпирически операционализировать феномен патриотизма элит как комплекс символических репрезентаций и нарративов, возникающих в национальной памяти и связанных с социальным конструированием пространства политической солидарности.

Представленная работа нацелена на получение ответов на ряд вопросов, значимых, по мнению автора, для осмысления специфики процесса политической идентификации политических элит в реалиях современных политических коммуникаций. Какие символические структуры национальной памяти определяют динамику смысла и со-

держания дискурсов патриотизма, характерных для национальных политических элит? Как формы политической солидарности, доминирующие в том или ином национальном сообществе, влияют на социальное конструирование патриотического дискурса элит, обуславливая жизненность тех или иных его дискурсивных вариаций в их практиках политической легитимации и самолегитимации. Наконец, чем обусловлен конфликт нарративов патриотизма в процессе идентификации российских политических элит?

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Не подвергая сомнению значимость и перспективность исследования политической идентификации элит в контексте их ценностно-нормативных ориентаций, следует заметить, что подобные исследования обращают внимание преимущественно на пространственные границы подобной идентификации, особенности символического позиционирования элит в политическом пространстве. В то время как темпоральные измерения этого процесса и его коммуникативная тематизация, связанная с социальным конструированием смысловых образцов политических ожиданий (от чего, собственно, зависит степень автономности и действенности позиционирования элит), часто остаются на периферии исследований. В современных коммуникативных реалиях актуализируются теоретические послылки социологии дискурсивных и символических измерений национальной идентичности, артикулированные в конце XX столетия и получившие свое развитие в современной культурсоциологии и антропологии политики, которые нацелены на изучение символических кодов и базовых нарративов национальной идентичности, обеспечивающих солидарное существование в комплексных обществах¹.

Национальная идентичность, как и иные формы коллективной идентичности в комплексных обществах, нуждающихся в публичных сферах, возникает при социальном конструировании символических границ сообществ на основе символизации процессов «включения и исключения» «ожиданий других» из этого сообщества. Подобное раз-

¹ Более подробно о специфике и возможностях культурсоциологической эпистемологии исследования социокультурной динамики политических элит, ее пространственно-временных измерений см. в: [Завершинский 2018].

личение предполагает эволюцию и усложнение символических кодексов этого различия от примордиальных и сакральных к гражданским, которые возникают при пространственно-временном маркировании в комплексных обществах.

Анализ социального конструирования символических границ национальных сообществ предполагает выход за рамки трактовки политико-культурного процесса как социокультурной динамики ценностных или идеологических предпочтений политических субъектов. При социальном конструировании диалога между национальными элитами важно учитывать различия в понимании ими значимого прошлого, настоящего и будущего, характерных для этих сообщества, особенностей их коммуникативного «связывания» в символических структурах национальной памяти. Эта теоретико-методологическая установка позволяет переопределить концепты нации и национальной идентичности, выводя их за рамки субстанционалистских трактовок национального сообщества как носителя культуры, языка, религии, артикулировать глубинные основания культурной специфики пространственно-временных параметров национальной общности, связанных с символическими репрезентациями травматического опыта становления нации, выявить специфику патриотического дискурса.

У многих национальных общностей в современном мире существуют политические, экономические, социальные границы, но при этом очевидно нарастает неопределенность в символических границах, связанных с динамикой социальной памяти под влиянием современных коммуникаций. Если концепт «политическая культура» в традиционном социологическом и политологическом дискурсе позволяет наблюдать динамику ценностных ориентаций в пространстве социальной идентификации, то анализ феномена национальной идентичности в семантическом и категориальном фокусе «национальной памяти» позволяет отвечать на вопросы о том, как и каким образом многослойность рационализированных и эмоционально-чувственных репрезентаций коллективно-значимых представлений «имеет значение» для действенной прагматики национальной идентификации и легитимации национальных политических систем. Национальная память как историческая модификация политической памяти, обладающая по сравнению с предшествующими историческими формами большей темпоральной длительностью, сохраняет ведущую роль в легитимации социальных институтов и конструировании социально-политической преемственности

[Ассман 2006: 210–226]. Процессы, происходящие в современной национальной памяти, все чаще являются решающими «символическими триггерами» процесса производства идентичностей, интересов и значений во времени, а не статическим отражением эволюции институциональных структур или ценностных предпочтений культурных и политических элит. Исследование символической динамики процесса социального конструирования и эволюции современной национальной идентичности в контексте коммуникативных процессов национальной памяти предполагает анализ темпоральных режимов и исторических форм, уровней национальной памяти [Ассман 2017], «прагматики» ее мнемонических процессов и продуцирования символических кодов публичного пространства и политической солидарности [Alexander 2006: 29–89].

Другим важным коммуникативным измерением национальной памяти является исследование «работы» национальной памяти по продуцированию и разрушению национальной идентичности и идентичности элит, изучение специфики ее «символических фигураций», отражающих меняющиеся отношения между прошлым и настоящим. Эти отношения обусловлены взаимосвязью процесса конфликтной борьбы «памятей», конкуренции жанров и профилей легитимации [Olick 2016: 36–76]. Описание профилей легитимации национальной памяти предполагает исследование конфликтной динамики символических контуров национальной памяти, включающей разнообразные конкурирующие смысловые компоненты (образы прошлого, политические характеристики элит, типологию героического, представления о долге, вине и ответственности, приоритетные стратегии и практики борьбы с «врагами»), определяющие характер возникновения и умножения конфликтов идентичностей.

Таким образом, социологическое моделирование процессов, происходящих в национальной памяти современных сообществ и связанных с этим элитных социально-политических конфликтов в политическом пространстве, могло бы содействовать артикуляции научного дискурса, ориентированного на понимание национальной идентичности элит как результата социокультурного структурирования символических компонентов национальной памяти. Методологический переход от анализа политической культуры как ценностно-нормативной структуры, зависимой от институциональных и организационных форм социума, к разработке моделей ее коммуникативной автономии и специфики позволяет сконцентрировать внимание на изучении пространственно-

темпоральных структур ожиданий политической памяти, где специфика (конфигурация) пространственной и временной символизации публичного принуждения определяет социальное конструирование политических событий и форм политической солидарности.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ ЭЛИТ

Политико-антропологическая специфика социальных форм солидарности определяет превращение коллективных представлений в нарративы, жизненно важные для создания и поддержания национальных идентичностей и разрешения конфликта между элитными группами. Принципиальным в рамках стратегии исследования динамики «программ политического опыта» (политической памяти) является изучение базовых культур — антропологических моделей форм политической солидарности, определяющих социокультурную специфику политических идентичностей. По нашему мнению, анализ базовых форм политической солидарности возможен на основе *grid-group*-анализа, предложенного в свое время М. Дуглас и адаптированного представителями культурной теории к политическим реалиям политики в национальных сообществах [Thompson 2005: 1–22]. Подобная исследовательская стратегия позволяет выделить модели социальной солидарности, а также дает возможность артикулировать многообразие их комбинаций, определяющих специфику и направленность политики памяти в современных реалиях взаимодействий национальных государств. Символические формы солидарности выступают своего рода интегралом взаимодействий на макроуровне и уровне повседневности.

Измерение по шкалам мировоззренческой сети представлений (*grid*) и групповых предпочтений (*group*), нормативных ограничений, связанных с принадлежностью к культурной общности и конкретной социальной группе, позволяет выявить специфику форм солидарности и их символического потенциала по преодолению рисков и опасностей конфликтной динамики внутренней и внешней среды существования современных политических общностей. Это дает возможность выделить «идеально-типические» модели социальной солидарности на пересечении мировоззренческой и групповой осей, которые могут быть использованы для характеристики своеобразия и влияния этих форм солидарности

на социальные взаимодействия, в том числе политические, в которые вступают люди (индивидуализм, фатализм, иерархизм, эгалитаризм), и их комбинации. Отсюда следуют четыре базовых космологии и стратегии достижения целей, связанные с восприятием границ политического, национального суверенитета, демократии: восприятие политики как *рационально-управляемого* и *директивно-управляемого* (политический индивидуализм и иерархизм) и как некой культурной антитезы индивидуализму и иерархизму — признание *непредсказуемости политических коммуникаций* (*политический фатализм*) и *мировоззренчески диффузная политика эгалитаризма*.

Наблюдение в пространстве этих двух осей измерения и четырех «идеально-типических» конструкций солидарности позволяет артикулировать многообразие их комбинаций, определяющих специфику способов обоснования политических идентичностей в современных реалиях взаимодействий национальных государств. Соответственно эти формы солидарности отличаются способами интерпретации смысла политического и способах легитимации политического порядка, стратегиями реализации политическими элитами внутренней и внешней политики, режимами политического времени, стратегиями реализации политического суверенитета и степени нормативных ограничений, которые признают члены солидарных сообществ. Наличие мифического ядра, неотъемлемого элемента любой космологии политической солидарности, проявляется в презентации коллективной, взаимной ответственности за действия в чувственно-образной символической форме. Именно антропологическая специфика форм солидарности определяет превращение коллективных представлений в нарратив, жизненно важные для создания и поддержания национальных идентичностей и конфликта между ними. Примером может служить современная конфронтация политических элит (войн памяти), обусловленная, например, противостоянием нарратива и мифологии евроатлантической солидарности по отношению к другим, качественно отличным нарративам национальной солидарности, связанным с различиями в понимании и интерпретации учреждающих политических событий, образцов героического и представлений о долге, вине, ответственности и приоритетных стратегий политики памяти, реализуемых элитами. В этом контексте политическая элита России существует в рамках слабой системы культурных классификаций и достаточно сильной зависимости от групповой принадлежности

и неэффективной директивно-управляемой вертикали. Предпосылки политической конфронтации российских политических элит связаны с доминированием у них эклектики стратегий «безответственного» индивидуализма, иерархизма или эгалитаризма.

Зависимость принимаемых элитами решений от символических структур солидарности или попытки радикального их переформатирования в процессе проводимой современными элитами политики памяти стимулируют как появление пространств символической комплементарности, так и конфронтацию идентификационных символических кодов. Активизация маргинальных нарративов в символических структурах политической памяти ведет к легитимации насильственных стратегий и поведенческих моделей по отношению к «иным» или «другим» формам солидарного существования.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДИСКУРСА ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

В современных исследованиях дискурса патриотизма, на наш взгляд, можно проследить доминирование ценностно-нормативного измерения при интерпретации специфики его проявления в позиционировании политических элит. Несмотря на видимую вариативность подобных интерпретаций, все они так или иначе разделяют посыл о том, что качество патриотических убеждений связано со спецификой и интенсивностью процесса политической социализации, обусловленной политической преемственностью отношений между поколениями и ответственностью за этот процесс политических и культурных элит, призванных отыскать идеальные, духовные и сакральные основания патриотического поведения. Так, в современном отечественном академическом дискурсе при трактовке смысла и содержания феномена патриотизма доминирует трактовка патриотизма как специфической ценностной установки политического сознания, влияющей «на общественные отношения и деятельность, связанные с поддержкой и защитой гражданином политических институтов, отражающих его интересы» [Мартынов, Фадеева, Габеркорн 2020: 109–121]. Можно согласиться с важностью подобного измерения феномена патриотизма, поскольку система символических отображений и ритуалов патриотического поведения обеспечивает дополнительный уровень легитимации властных отношений. Семантическая последовательность в использовании элитами слов

и символов при поддержании устойчивых образцов гражданского патриотизма расширяет возможности для политического консенсуса в ходе публичных дискуссий и устанавливает границы того, что относится к сфере асоциального, непатриотического взаимодействия.

При этом современные ценностно-нормативные трактовки содержания дискурса патриотизма в национальном пространстве современной России так или иначе отталкиваются от тех дискурсивных линий, которые начинают в XIX в. проследиваться в социокультурном пространстве России. Это связано с тем, что происходит вызревание в рамках имперской теологической легитимации новых культурных проектов национальной идентичности, когда у властной элиты и новых социальных групп возникает потребность в идеологических, т.е. пригодных для инструментального использования, политических дискурсов, способных обеспечить более высокий уровень социального консенсуса в реалиях неизбежной модернизации российского общества. Показательно, что именно в этот период происходит закрепление и распространение в публичном пространстве понятия «патриотизм». Такими речевыми и символическими практиками, претендующими на роль дискурсов патриотизма, можно считать специфические российские версии консервативных, социалистических и либеральных ценностных установок. На рубеже XIX–XX вв. «качество» и оценка значимости дискурса патриотизма отчетливо колеблется в семантической бинарности признания нравственной ограниченности патриотизма до поисков «настоящего национализма», основанного на любви к «народному мы», скрепленному государственным правосознанием. Война семантики альтернативных дискурсов патриотизма в XX столетии завершилась доминированием идеологемы коммунистического интернационализма, постепенно трансформировавшейся в дискурсивную практику «социалистического отечества», сменившихся в период «перестройки» поисками либеральной версии «критического патриотизма». На настоящей фазе политической эволюции России проследивается становление консервативных дискурсивных семантик, акцентирующих на приоритете любви к «народному мы» при главенстве идеи сильного, авторитарного национального государства. Несмотря на перманентную артикуляцию в отечественном социально-политическом дискурсе дебатов о содержании и коммуникативных функциях феноменов «нового национализма» и патриотизма, патриотизма/антипатриотизма, национализма/космополитизма элит, их семантика достаточно часто редуциру-

ется к частным дискурсивным измерениям, сопровождаемым идеологически аксиологизированной риторикой.

Несмотря на значимость современных исследований, специфики содержания российских патриотических убеждений в контексте ценностно-нормативной аксиоматики российской социально-философской и идеологической мысли о приоритете «либерально-демократических», «консервативных», «этнонационалистических», социалистических ценностных ориентаций, а также через призму прагматических «узусов» дискурса патриотизма в современных российских и западных массмедиа, сохраняется насущная потребность в разработке междисциплинарных социологических моделей социокультурной динамики нарратива патриотизма. Ценностно-нормативная аксиоматика дискурса патриотизма — важное, но всего лишь одно из измерений больших политических нарративов, связанных с процессом политической идентификацией национальных сообществ. Именно нарративы, в отличие от аксиологической семантики бинарного кодирования, привносят упорядоченность в представления о последовательности политических событий, позволяя ответить на вопросы «кто мы» и «откуда», согласовывая наши коллективные действия с «конечными» вопросам на уровне повседневности. Ценностный дискурс патриотизма всегда существует в пространстве и времени коллективно-значимых представлений о политике («политической памяти»), а не только как идеологический или пропагандистский эффект активности элит.

Современные политологические исследования феномена патриотизма в современном российском обществе нуждаются в новых политико-социологических измерениях, позволяющих вывести их проблематику на анализ действенности многоуровневых политических репрезентаций дискурса патриотизма. В связи с чем, по мнению автора, актуализируются теоретические послышки исторической социологии и современной культурсоциологии, ориентирующих на исследование исторической динамики внутриполитического и внешнеполитического позиционирования национальных сообществ в связи с символической спецификой пространственного и временного кодирования границ национальной памяти. Принципиальными в связи с этим видятся теоретические послышки Ш. Эйзенштадта и Б. Гизена, которые полагали, что при исследовании исторической динамики внутригруппового и внешнего позиционирования национальных сообществ, наряду с такими измерениями, как социальная дифференциация, контроль над распре-

делением ценностей и институционализация, важно учитывать символическую специфику пространственного и временного кодирования границ подобных сообществ [Eisenstaedt, Giesen 1995: 72–102; Eisenstaedt 2002: 3–12].

При этом базовым доминирующим символическим кодом национальной идентичности является «гражданский код», репрезентируемый в патриотическом кодексе поведения, обеспечивающий более высокую по сравнению с предшествующими кодами (примордиальными и теологическими) уровень социальной идентификации и солидарного существования, преодолевающую сословные, этнические и региональные различия. Подобная политико-культурная динамика сопровождается конфликтной борьбой политических нарративов, конкуренцией жанров и профилей легитимации. Описание профилей легитимации национальной памяти предполагает исследование конфликтной динамики символических контуров национальной памяти, включающей разнообразные конкурирующие смысловые компоненты (образы прошлого, политические характеристики элит, типологию героического, представления о долге, вине и ответственности, приоритетные стратегии и практики борьбы с «врагами»), определяющие характер возникновения и умножения конфликтов идентичностей и специфику патриотических дискурсов.

Интерес представляет и методологическая позиция Б. Гизена, который полагает, что социологический взгляд на коммуникативную динамику социальной жизни, особенно на современную, должен быть существенно скорректирован в контексте модели «асинхронности» («разновременности»). Эта парадигма, по его мнению, способна преодолеть инерцию модернистской модели, рассматривающей общество как систему взаимосвязанных подсистем, которые в идеале должны быть плотно соединены друг с другом (обмениваться информацией точно и вовремя) и последовательно преодолевать несовершенство прошлого и сбой в координации систем [Giesen 2004: 27–40]. Социальная жизнь в контексте подобной исследовательской установки не работает согласно функционалистскому и прогрессистскому сценарию. Важно учитывать асинхронность («разновременность») различий в восприятии социального времени поколениями и связанную с этим значимость для них тех или иных социальных событий и способность людей к взаимной адаптации. Именно подобная «разновременность» ведет к тому, что новые поколения политических элит могут рассматривать инсти-

туциональные нормы и образцы предыдущего как «устаревшие», нуждающиеся в радикальных преобразованиях. В стремлении сохранить поступательность в эволюции социальных институтов и культурных образцов из прошлого в настоящем элиты часто сталкиваются с групповыми различиями в своих временных горизонтах, восприятию значимости ключевых событий прошлого. То, что одно поколение элит помнит как победу, для другого поколения или группы людей, живущих в отличном горизонте времени, может восприниматься поражением или малозначимым событием. Экстраординарные политические события в жизни поколения элит, как, например, последствия военно-политических конфликтов, переворотов, пандемии, могут стремительно вывести их из «тени» политического опыта предшествующих поколений и принудить действовать самостоятельно, стимулировать действия по радикальному реформатированию существующих культурных образцов и институтов.

Смена политических элит предполагает, что они могут быть ориентированы на собственные значимые для них «события», значимые для их «успешного» существования в настоящем и будущем. Разрушение социума или гуманитарные катастрофы могут происходить относительно «скрыто» для многих групп, не вовлеченных непосредственно в этот процесс, объективные свидетельства о таких событиях могут быть уничтожены и никак не сказываться на национальной идентичности и идентичности властных элит, а эрозия символических границ национальной памяти, порожденная, например, символической политикой маргинальных элит и элитных групп, могут привести к эрозии и разрушению границ понимания и солидарных форм внутри социума, к утрате социального порядка, разрушению политических институтов и разрушению механизма поддержания политико-культурных санкций. Политическая «фактичность» принимаемых элитами политических решений обретает статус политических событий, входит в «опыт» (память нации и элит), когда она обретает статус коммуникативной драматургии. Не существует универсальных нормативных характеристик дискурса патриотизма, а поэтому репрезентация патриотизма в деятельности политических элит связана с особенностями пространственных и темпоральных границ политических коммуникаций и форм солидарности, характерных для тех или иных сообществ на конкретном этапе их политической эволюции. Политические дискурсы патриотизма элит всегда включены в социальные, культурные, экономические, политиче-

ские и правовые коммуникации и связаны с вариативными контекстами времени.

В национальной памяти современной России прослеживается процесс конфликтной борьбы «памятей», столкновение «политик памяти» как следствие конкуренции жанров и профилей национальной легитимации как внутри политического пространства России, так и во внешнеполитическом позиционировании российских политических элит. Динамику становления профилей легитимации национальной памяти современной России, можно интерпретировать как эволюцию от «большого» нарратива «новой России» в 1990-е годы к «национальной консолидации» в 2000-е, сопровождаемой высокой амбивалентностью символического кодирования и симбиоза «малых» нарративов, что проявляется в вариативности и конфликтности дискурсов патриотизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, несмотря на значимость современных исследований специфики смысла и содержания российских дискурсов патриотизма в контексте их ценностно-нормативной аксиоматики, растет научная и политическая актуальность разработки междисциплинарных социологических моделей политико-культурной динамики дискурса патриотизма. Анализ социального конструирования политической идентичности, базовых кодексов идентификации национальных элит предполагает выход за рамки трактовки политической идентификации как социокультурной динамики ценностно-нормативных предпочтений или организационной активности. Успех или неуспех политической идентификации элит предопределяется в значительной степени тем, как происходит процесс становления коммуникативного понимания в пространстве той или иной национальной памяти. При социальном конструировании диалога между национальными элитами важно учитывать различия в понимании ими значимого прошлого, настоящего и будущего, особенностей их коммуникативного «связывания» в символических структурах национальных памятей.

Методологический переход от анализа политической идентичности как производной от социально-экономических и организационных структур к разработке теории и практике коммуникативной автономии символических структур национальной памяти позволяет сконцентрировать внимание на изучении роли пространственно-темпоральных

структур национальной памяти при оформлении ожиданий политических элит, где специфика (конфигурация) пространственной и временной символизации политических коммуникаций определяет социальное конструирование политических событий, форм солидарности и политической идентификации элит. Эта познавательная установка ориентирует на анализ дискурса патриотизма элитных групп как символических структур («сетей смыслов»), укоренных не только в поведенческих ориентациях представителей полититических элит или их идеологической преференциальности, но и в коммуникативных измерениях структур национальной памяти. В этой теоретической опции *политический патриотизм* можно определить как сеть солидарных коммуникаций и политических ожиданий, проявляющихся в политической активности граждан национального сообщества, их готовности к ограничению ранее сложившихся ожиданий (вплоть до готовности в экстремальных условиях пожертвовать жизнью) в целях обеспечения существования и развития этого сообщества.

Современная Россия переживает процесс смены профилей легитимации национальной идентичности, обусловленный конфликтной динамикой символических контуров национальной памяти. Исследование символической специфики конкурирующих нарративов гражданственности и его патриотических репрезентаций в национальной памяти современной России в фокусе сравнительного анализа эволюции и социокультурной динамики профилей легитимации национальной памяти, включающих такие взаимосвязанные символические компоненты (образы прошлого и будущего, типологию героического, приоритетные стратегии и практики символического конструирования образа врага и «другого» во внутри- и внешнеполитических коммуникациях) могут стать основой для моделирования процессов развертывания и урегулирования политико-культурных конфликтов, возникающих в процессе реализации политики памяти культурными и политическими элитами.

Специфика эволюции профилей легитимности национальной памяти позволяет выявить высокую степень амбивалентность символического кодирования конкурирующих в национальной памяти России дискурсов патриотизма. Это связано с диверсификацией представлений элитных групп об «учреждающих» («запускающих») событиях в современной политической памяти и радикальным коммуникативным реформатированием символических границ в процессе распада советской политической системы и делегитимацией национальной памяти. Сим-

волическое оформление травматического нарратива «геополитической катастрофы» распада Советского Союза является «символическим триггером» процессов конкуренции нарративов гражданственности и конфликтного поиска объединяющего нарратива гражданского патриотизма, адекватного социокультурным особенностям эволюции социальной памяти российской цивилизации. «Резонансные истории» антипатриотизма в деятельности современных политических элит и популистские интерпретации элитами политических событий сигнализируют нам об отсутствии содержательных политических нарративов и дискурсов патриотизма, важных для солидарного существования в современном и весьма рискованном политико-культурном многообразии, где продолжает проследиваться преобладание иерархически индивидуалистических форм элитной консолидации и политической солидарности.

Литература

Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение. 2017. 267 с.

Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2008. 336 с.

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты как объект исследований в отечественной политической науке // Политическая наука. 2016. № 2. С. 38–73.

Дука А.В. Властные элиты в пространстве скандала (случай генерала Золотова) // Власть и элиты / отв. ред. А.В. Дука. Т. 5. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 110–149.

Завершинский К.Ф. Символические измерения социокультурной динамики современных политических элит // Власть и элиты / отв. ред. А. Дука. Т. 5. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 438–460.

Луман Н.Л. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновский. М.: Логос, 2004. 232 с.

Мартынов М.Ю., Фадеева Л.А., Габеркорн А.И. Патриотизм как политический дискурс в современной России // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 109–121.

Alexander J.C. Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy Social Performance // Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual / ed. by J. C. Alexander, B. Giesen, J. L. Mast. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 29–89.

Assmann A. Memory, Individual and Collective // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / ed. by R.E. Goodin, C. Tilly. New York: Oxford University Press, 2006. P. 210–226.

Giesen B. Noncontemporaneity, Asynchronicity and Divided Memories // *Time & Society*. 2004. Vol. 13, № 1. P. 27–40.

Eisenstaedt N.S., Giesen B. The construction of collective identity // *European Journal of Sociology*. 1995. Vol. 36, № 1. P. 72–102.

Eisenstadt S.N. The Continual Reconstruction of Multiple Modern Civilizations and Collective Identities // *Borderlines in a globalized world. New Perspectives in a Sociology of the World-System* / ed. by G. Preyer, M. Bös. Springer-Science+Business Media, B.V., 2002. P. 3–12.

Olick J.K. *The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method*. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2016. vii+517 p.

Thompson M. Cultural theory as political science // *Cultural theory as political science* / ed. by M. Thompson, G. Grendstad, P. Selle. L.; N.Y.: Routledge, 2005. P. 1–22.

“ELITE PATRIOTISM” AS A DISCURSIVE DIMENSION OF THE SYMBOLIC STRUCTURES OF THE NATIONAL MEMORY

K. Zavershinskiy

(zavershinskiy200@mail.ru)
St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Russia

Citation: Zavershinskiy K. “Patriotizm elit” kak diskursivnoye izmereniye simvolicheskikh struktur natsional’noy pamyati [“Elite patriotism” as a discursive dimension of the symbolic structures of the national memory]. *Vlast’ i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 77–96. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.4>

Abstract. *The article examines the importance of studying the place and role of the patriotism discourse for the political identification of contemporary elites. The author argues that the dominance of value-normative and positivist research strategies in the study of political communications between elites only partially reflects qualitative changes in the processes of their political identification. According to the author, more promising are the research strategies of contemporary cultural sociology of political phenomena, which allow interpreting the mobility of political identification of elites from the standpoint of the symbolic structures*

dynamics of national memory. The study of the influence in regard to the symbolic structures of national memory on the political identification of elites makes it possible to more adequately delineate the role of the patriotism discourse in the social construction of political solidarity in contemporary national communities. An important role in the study of the political identification of elites is played by the study of the influence attributed to legitimization profiles of national memory on the specifics of their patriotic / non-patriotic identification, which makes it possible to take into account the specifics of the competition between symbolic representations of images of the past and the future, the typology of the heroic, ideas about the guilt and responsibility of elites. Using the theoretical premises of the cultural sociological analysis of contemporary political culture, national memory as a methodological basis, the author proposes a new theoretical approach to the study of the "patriotism of elites" phenomenon.

Keywords: *political elites, political communications, national memory, political solidarity, the discourse of patriotism.*

References

- Alexander J. C. Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy Social Performance. In: *Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual*. Ed. by J. C. Alexander, B. Giesen, J. L. Mast. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 29–89.
- Assmann A. Memory, Individual and Collective. In: *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. Ed. by R.E. Goodin, C. Tilly. New York: Oxford University Press, 2006. P. 210–226.
- Assman A. *Raspalas' svyaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima Moderna* [Ist die Zeit aus den Augen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. 267 p. (In Russian)
- Beck U. *Kosmopoliticheskoe mirovozzrenie* [Cosmopolitan Vision]. Moscow: Centr issledovaniy postindustrial'nogo obshchestva, 2008. 336 p. (In Russian)
- Duka A.V. Vlastnye elity v prostranstve skandala (sluchaj generala Zolotova) [Power elites in the space of scandal: (case of General Zolotov)]. In: *Vlast' i elity* [Power and Elites]. Ed. by A.V. Duka. Vol. 5. St. Petersburg: Intersotsis, 2018, pp. 110–149. (In Russian)
- Eisenstaedt N.S., Giesen B. The construction of collective identity, *European Journal of Sociology*, 1995, 36 (1), pp. 72–102.
- Eisenstadt S.N. The Continual Reconstruction of Multiple Modern Civilizations and Collective Identities. In: *Borderlines in a globalized world. New Perspectives in a Sociology of the World-System*. Ed. by G. Preyer, M. Bös. Springer-Science+Business Media, B.V., 2002, pp. 3–12.
- Gaman-Goluvina O.V. Politicheskie elity kak obyekt issledovaniy v otechestvennoj politicheskoy nauke [Political elites as an object of research in Russian political science], *Politicheskaya nauka* [Political Science], 2016, 2, pp. 38–73. (In Russian)

Giesen B. Noncontemporaneity, Asynchronicity and Divided Memories, *Time & Society*, 2004, 13 (1), pp. 27–40.

Luman N.L. *Obshchestvo kak social'naya sistema* [Society as a Social System]. Moscow: Logos, 2004. 232 p. (In Russian)

Martynov M.Yu., Fadeeva L.A., Gaberkorn A.I. Patriotizm kak politicheskij diskurs v sovremennoj Rossii [Patriotism as a political discourse in modern Russia]. *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political Studies], 2020, 2, pp. 109–121. (In Russian)

Olick J. K. *The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2016. vii+517 p.

Thompson M. Cultural theory as political science. In: *Cultural theory as political science*. Ed. by M. Thompson, G. Grendstad, P. Selle. London; New York: Routledge, 2005, pp. 1–22.

Zavershinskij K.F. Simvolicheskie izmereniya sociokul'turnoj dinamiki sovremennyh politicheskij elit [Symbolic dimensions of socio-cultural dynamics of contemporary political elites]. In: *Vlast' i elity* [Power and Elites]. Ed. by A.V. Duka. Vol. 5. St. Petersburg: Intersotsis, 2018, pp. 438–460. (In Russian)

ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА ОТКАЗЫВАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ (эволюция смысла Великой Отечественной войны во властном дискурсе)

А.В. Дука

(alexander-duka@yandex.ru)

Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН,
Санкт-Петербург, Россия

Цитирование: Дука А.В. От какого наследства отказываются российские элиты (эволюция смысла Великой Отечественной войны во властном дискурсе) // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 97–128.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.5>

Аннотация. Рассматривается производство смыслов Великой Отечественной войны властными группами Советского Союза и Российской Федерации. Любая война предполагает определение врага и его квалификацию. Это и задает качественную определенность войне, делает ее политическим событием. Данная процедура связана с определением смысла конкретной войны, что является важным политическим актом, способствующим легитимации режима и существования властных групп. Более того, осмысляя войну, властные группы и население включают ее в уже существующий смысловой мир. Элиты могут пытаться воздействовать на этот процесс. Но их возможности ограничены. Первоначальное определение Второй мировой войны как империалистической с вхождением в нее Советского Союза подверглось радикальному переосмыслению. Использование уже существовавшего с XIX в. наименования оборонительной войны как Отечественной помогло в осмыслении ее как общенародной и справедливой. Возвращение во властный политический дискурс данных смыслов наложилось на характеристику существовавшего режима, государственного устройства и экономического строя. Одновременно в советских и партийных документах, в выступлениях Сталина указывалась цель германской агрессии: уничтожение советского строя. И враг определялся соответствующим образом — немецкий фашизм. Тем самым усиливается легитимация общественного и государственного строя. Одновременно произошло переопределение союзников, врагов, агрессоров. Англия и Франция из агрессоров превратились в союзников. По окончании войны мотивы преимущества социализма и советской власти в связи с победой

становятся основными. Но с 1970-х годов обнаруживается постепенное изменение военного дискурса, что было связано с разрядкой напряженности. Прекращение существования СССР, главного победителя в Великой Отечественной войне, превращает ее в прежде всего исторический факт: нет социалистического строя и советского государства, которые победили. Риторика о войне и смысл войны сильно трансформировались. Если главный мотив в начале войны и в ее конце был отчетливо классовым, то в современной российском властном дискурсе он теряет этот советский стержень. Война предстает в большей мере как межгосударственная. В дискурсе о войне, в отличие от ее изначальной общенародности и борьбы с врагом, преобладает элемент жертвенности. Эти мотивы усиливаются появившимися новыми практиками, наиважнейшей из которых является «Бессмертный полк». Происходит и переосмысление народа как победителя в войне. Соответственно и миссия в войне Советского Союза также трансформируется.

Ключевые слова: элиты, властные группы, смысл войны, Великая Отечественная война, властный дискурс.

Притязание на сильную национальную историю влияет на легитимность и сплоченность государства. В меньшей мере это относится к властным элитам, претендующим на правомерность занятия своих позиций и фактического владения государством. Война часто наиболее ярко, выпукло демонстрирует превосходство (даже если это только продукт смыслообразования властных групп). И в случае поражения, конвертируемого в моральное превосходство, связанного с жертвами и героической жертвенностью с «нашей» стороны и несправедливостью, коварством и жестокостью со стороны противника/врага, война остается важным источником легитимности¹. Причем в этом случае определение и поиск врагов уже не является исключительной прерогативой политических инстанций. Здесь элиты и население действуют в унисон.

Определение значения и смысла войны затрагивает вопрос о культурных основах функционирования элит. Элиты — хранители культурно-исторических смыслов. Но они и хранители своей власти, которая зиждется на определенном консенсусе с наиболее активной частью населения. В условиях кризиса и раскола элит, как мы видим, например, в современных США, приходится выбирать между альтернативными смыслами исторических событий. Но выбор делается и в более спокой-

¹ Жертвы и страдания могут быть не только в связи с войной. См., например: [Ачкасов 2012: 137–138].

ной обстановке. Элиты постоянно маневрируют, даже внешне оставаясь приверженцами базовых фундаментальных исторических ценностей. Их маневры связаны с изменением обстоятельств их существования и функционирования, констелляций социальных групп внутри страны и внешней обстановкой. Соответственно ценностные ориентиры также трансформируются. Индикатором такой трансформации могут служить смыслы существенных исторических событий, которые иногда приобретают значение учредительных. Придание определенного смысла событию и внедрение его в публичное пространство и массовое сознание — важная работа элит и их окружения. Однако эта работа осуществляется вместе с подвластными. Можно попытаться радикально что-то переосмыслить, но без «предварительного согласия» основных групп населения, наиболее активно действующих в публичном пространстве, эта затея не удастся. Официальный дискурс может состояться, но быть при этом нелегитимным.

В истории государств значительное место занимают войны. Некоторые из них становятся (и по факту событийности, и по сложившимся представлениям) конституирующими в отношении общности событиями. К таким войнам для Советского Союза и Российской Федерации, безусловно, принадлежит Великая Отечественная война. Н.Е. Копосов по этому поводу пишет: «Миф о войне стал настоящим мифом происхождения постсоветской России» [Копосов 2011: 163].

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ВОЙНЫ

Война предполагает определение врага и его квалификацию. Собственно, это и задает качественную определенность любой войне и делает ее политическим событием. Героические схватки легендарных времен в меньшей степени могут быть охарактеризованы как политическое действие. Здесь индивидуальная удаль, рыцарский поединок выявляют персональную необычность. Но и в такого рода сюжетах встречаются важные характеристики враждебности и чуждости, против которых направлена сила и энергия героя. В качестве примера можно взять «Песнь о Роланде» (война с маврами), русские богатырские былины (борьба со степью). Против кого или чего и за кого или за что ведется война предполагает также и самоидентификацию создателя военного дискурса.

П.Л. Карабущенко, несколько преувеличивая, заметил: «Война — это среда существования политических элит» [Карабущенко 2015: 335].

С этим можно согласиться, но с поправкой. В той мере, в какой в процессе ее ставятся и решаются предельные вопросы существования больших общностей, в которых элиты играют существенные роли. И один из аспектов их ролевого поведения — создание, определение и навязывание смысла этого события, который должен стать обыденным, банальным, общепринятым суждением (доксой). Это предполагает дихотомичное представление социального и политического пространства: свое и враждебное, что соответствует самому характеру вооруженного противостояния. Одновременно происходит и моральное определение противостоящих сил: добро и зло. Вместе с тем в условиях военного противостояния возможна перекавалификация участников конфликта, что связано с созданием коалиций, переходом тех или иных государств (правлящих элит) на сторону бывших противников. Так, в 1965 г. в докладе Л.И. Брежнева, посвященном 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, было сказано: «Внесли свой вклад в разгром фашизма и болгарские, румынские, венгерские, финские войска» [Брежнев 1970: 138]. Но вооруженные силы этих стран достаточно долго активно воевали в союзе с Германией против Советского Союза, а некоторые их военные были непосредственными участниками уничтожения мирных советских граждан. Союзником может быть и принципиальный враг. Так, западные участники антигитлеровской коалиции все же характеризовались нашими руководителями в соответствии с классовым подходом как «наиболее реакционные империалисты» [Каганович 1996: 480]. Враг становится ситуативным.

Политическая конъюнктура может серьезно влиять на описание исторических событий и их осмысление. Но при этом для властных групп стоит задача стандартизации и нормализации политического языка. В процессе таких операций происходит возникновение и использование стандартных фраз и оборотов речи. Возникает политическая докса. Причем эти процедуры касаются не только подвластных групп и персон, но и внутриэлитных образований. «Докса и является тем культурным, или дискурсивным опосредованием, через которое осуществляется речь власти» [Барт 1989: 529]. Надо иметь в виду, что возможности по производству доксы со стороны элит все же ограничены. Существенен контекст, связанный с *со-переживанием* длящейся ситуации, единый для властных групп и подвластного населения. Он задает общие основания. «Смысл подобен сфере, куда я уже помещен, чтобы осуществлять возможные обозначения и даже придумывать их

условия» [Делез 1995: 45]. Другое дело, что элиты, имеющие иной опыт и иные интенции, чем основная часть населения, стремятся объяснить и разъяснить существо переживаемого момента и сделать свои интерпретативные схемы само собой разумеющимися, служащими основанием осмысления мира и отдельных явлений, событий. Элиты нюансируют смысловую картину социального мира. И это иногда происходит в конфликте. П. Бурдые особо подчеркивает: «Докса установилась в результате борьбы между властвующими и подвластными, в ходе борьбы с оппозицией» [Бурдые 2016: 337].

Конечно, как отмечал Карл фон Клаузевиц, война — это политический акт [Клаузевиц 1936: 53–56]. Однако, вполне правомерно пишет Карл Шмитт, комментируя Клаузевица, военная борьба предполагает, «что уже имеется политическое решение о том, кто есть враг» [Шмитт 2016: 309]. Данное решение принимают суверенные инстанции, принадлежащие властным группам. В этом направлении размышляет и Хаймо Хофмайстер, критически анализируя Клаузевица. Война — это не политика, а выражение политического безвластия [Хофмайстер 2006: 100, 104]. Далее он пишет: «Война как разворачивание действий, подобно любым событиям, указывает на что-то большее, нежели она сама, поскольку те действия, из которых вытекают события, не являются для нее самоцелью, напротив, они направлены на нечто, что придает ее задаче целесообразный смысл» [Хофмайстер 2006: 102]. И этот смысл войны политичен. Но и сама война как инструмент политических инстанций задает характеристики политическому пространству. В ее отсутствии политические лидеры реализуют свои и общие интересы иначе. А без нее или ее угрозы многие задачи становятся невыполнимыми. И политическое безвластие относительное (во всяком случае пока политическим инстанциям удастся держать в узде военные элиты). Собственно, здесь монополия на вооруженное насилие политических институтов и контролирующих их политических элит максимально проявляется. Хофмайстер показывает неоднозначность тезиса войны как инструмента политики, настаивая на существовании у войны своей логики. И, скорее всего, это так. Но в контексте данного текста я центрирую свое внимание прежде всего на политике и политическом.

Вместе с тем важен характер войны, ее политико-правовая сторона. И здесь существенно, что в условиях середины XX в. появляется новый тип войны, в которой не признаются ограничивающие ее правила. Карл Шмитт дает ей следующую характеристику: «Война абсолютной вражды не ведает никакого оберегания. Последовательное осуществление

абсолютной вражды придает войне ее смысл и справедливость» [Шмитт 2007: 82].

В России проблема войны рассматривалась с практической, теоретической и нравственной позиций. Важным для российской публики оказалось рассмотрение войны с точки зрения общечеловеческой истории, которое предложил В.С. Соловьев в 1899 г., и это вызвало большую дискуссию в обществе: «По-настоящему относительно войны следует ставить не один, а три различных вопроса: кроме общенравственной оценки войны есть другой вопрос — о ее значении в истории человечества, *еще не кончившейся*, и, наконец, третий вопрос, личный — о том, как я, то есть всякий человек, признающий обязательность нравственных требований по совести и разуму, должен относиться *теперь и здесь* к факту войны и к тем условиям, которые из него практически вытекают? Смещение или же неправильное разделение этих трех вопросов — общенравственного, или теоретического, затем исторического и, наконец, лично-нравственного, или практического, — составляют главную причину всех недоразумений и кривотолкований по поводу войны, особенно обильных в последнее время» [Соловьев 2012: 541]. Дальнейшие рассуждения приводят автора к пониманию амбивалентности войны с точки зрения здесь и сейчас существующих обстоятельств и резонансов: «Смысл войны не исчерпывается ее отрицательным определением как зла и бедствия; в ней есть и нечто положительное — не в том смысле, чтобы она была сама по себе нормальна, а лишь в том, что она бывает реальной необходимою при данных условиях» [Соловьев 2012: 542]. За 22 года до Соловьева сходные мысли встречаются у Ф.М. Достоевского [Достоевский 1995: 116]. Война может иметь несколько смыслов, что зависит от наблюдателя и точки зрения.

Но здесь возникает проблема субъекта определения условий, обстоятельств, необходимости, оправданности войны. Прагматизм войны создает ее смысл, и в определенной мере снижает ее нравственную оценку. И даже может вывести ее в пространство имморального. Но для «простых» потребителей произведенных смыслов нравственные оценки сохраняются, пусть даже имплицитно. Очень показательно в этом отношении выступление И.В. Сталина на совещании начальствующего состава Красной Армии 17 апреля 1940 г. Оно достаточно откровенное и поучительное. Сталин ставит риторический вопрос и тут же на него содержательно отвечает: «Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Вой-

на была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества». Это что касается необходимости. Ну а обстоятельства также толкали к войне: «Было бы большой глупостью, политической близорукостью упустить момент и не попытаться поскорее, пока идет там война на Западе, поставить и решить вопрос о безопасности Ленинграда. Отсрочить это дело месяца на два означало бы отсрочить это дело лет на двадцать, потому что ведь всего не предусмотреть в политике. Воевать-то они там воюют, но война какая-то слабая: то ли воюют, то ли в карты играют. Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено. Стало быть, благоприятная обстановка для того, чтобы поставить вопрос об обороне Ленинграда и обеспечении безопасности государства, был бы упущен. Это было бы большой ошибкой» [Сталин 1997а: 347, 348]. Война здесь рассматривается как *политико-техническая проблема* за пределами моральных оценок. Хотя, слушатели понимают, что обеспечение *нашей* безопасности оправдывает агрессию, которая выступает лишь восстановлением справедливости путем установления справедливых границ. При этом сталинские рассуждения отрываются от «канонического» ленинского подхода с его дихотомией «справедливые — несправедливые войны» [История... 1938: 161].

И совершенно не связывается содержательно советско-финская война с войной на западе Европы. Это оказывается изолированным событием, не связанным с общим процессом пересмотра европейских границ и переделом европейского мира. И что важно, политико-идеологический аспект противостояния играет инструментально-подчиненную роль. «Перед финнами мы с начала войны поставили два вопроса — выбирайте из двух одно: либо идите на большие уступки, либо мы вас распылим, и вы получите правительство Куусинена, которое будет потрошить ваше правительство. Так мы сказали финской буржуазии. Они предпочли пойти на уступки, чтобы не было народного правительства» [Сталин 1997а: 351]. Но ведь и Советский Союз во главе с коммунистическим руководством пренебрег классовой солидарностью и революционной идеей. Хотя пропаганда внутри страны продолжала ориентировать граждан на пролетарский интернационализм и поддержку левых сил в Финляндии [Политический словарь 1940: 605–606]. Примечательно, что А.С. Черняев, после чтения дневника Георгия Димитрова заключил, что уже в 1938 г. стала очевидна тенден-

ция в деятельности Сталина «стереть коммунистическое обличье в политике СССР» [Черняев 2010: 6].

Определение смысла конкретной войны — важный политический акт. Но как заметил Андре Конт-Спонвиль, «смысл настоящего никогда не присутствует в настоящем» [Конт-Спонвиль 2012: 549]. Он в прошлом или в будущем. В этом отношении смысл прошлых войн в их актуальности и возможной аналогичности. Так, наименование Первой мировой войны в дореволюционной России и зарубежной русской историографии Второй Отечественной подчеркивало оборонительный против западного нашествия характер. А также устанавливало связь с героическим прошлым, тем более что празднование столетия войны 1812 г. прошло совсем недавно.

Существует ее важный аспект, о котором писал А.А. Брусилов, — народность. А отсюда и особое к ней отношение: «Я всегда исповедовал убеждение, что народная война — дело священное, которое военачальник должен вести, как бы священнодействуя, с чистыми руками и чистой душой, так как тут проливается человеческая кровь во имя нашей матери-родины» [Брусилов 2003: 153]. Помимо этого, в дискурсе о Первой мировой войне присутствовал мотив общего для всех дела: «Сверхнародный, сверхпартийный смысл настоящей войны, — вот что составляет силу России, славян и их союзников. Не будем же ослаблять себя какими-либо узкопартийными выступлениями и племенными распрями. Будем помнить, что в служении этому смыслу — наше главное превосходство над нашим врагом. Чтобы победить, нужно прежде всего сохранить этот смысл, который объединяет народы вокруг нашего знамени» [Трубецкой 1914b: 22–23].

Переименование Второй Отечественной войны в советской историографии и в политических текстах в империалистическую задавало отстраненный в отношении народа, трудящихся характер войны и порывало с несоциалистическим прошлым. Более того, она становится негероической и постыдной, так как результаты ее в случае победы связывались с аннексией чужой территории и контрибуциями.

Рассуждая о смысле (смыслах) войны, исследователи естественным образом опираются на тексты персон, находящихся у власти или при власти. О.Ю. Малинова указывает, что «широкая группа, которую было бы уместно назвать *политическим классом*» участвует в производстве и тиражировании смыслов [Малинова 2010: 200; Малинова 2011: 280]. Джон Цаллер эту группу называет элитой и указывает, что важ-

нейшим аспектом ее деятельности является создание высокоизбирательного и стереотипизированного образа происходящих событий, потребляемого населением [Цаллер 2004: 40–41]. Это так, однако надо иметь в виду готовность населения потреблять смыслы. Смыслы не могут быть произвольным творчеством элит. Г.Л. Филд и Дж. Хигли писали, что границы поведения и установок элит определяются состоянием социальной организации, сознания и ориентаций не-элит [Field, Higley 1980]. Речь у авторов шла о социально-экономических характеристиках общества и основополагающих характеристиках поведения элит.

Представляется, что принцип базового соответствия общественно-го сознания и дискурса элит сохраняется при рассмотрении исторических макрособытий. Тем более что война, с тех пор как она исчезла, по словам Рене Жирара, «в качестве социального института в связи с изобретением воинской повинности, а затем и тотальной мобилизации» [Жирар 2019: 5], стала *делом всех*, а не только специальной социальной группы военных или определенного сословия. Также теряется кодификация: правила и регулярность более не сдерживают противников. Фон Мизес характеризует современные войны как тотальные — войны народов, в которых народ и армия едины [Мизес 2013: 141]. Стираются перегородки между правительством, армией и народом как объектами враждебных действий воюющих сторон [Кревельд 2011: 315-319]. Эта всеобщность войны ограничивает возможности элит по ее радикальному переосмыслению. Хотя нюансы остаются и сохраняется возможность корректировки массового сознания. Частично эта возможность основывается на этатизации войны [Фуко 2005: 65], значительного усиления и расширения сферы государства в виду новых военных задач [Жувенель 2011: 211-214], что, в свою очередь, дает элитам разнообразные ресурсы воздействия на общество. «Государство — главный производитель инструментов построения социальной реальности» [Бурдые 2016: 326]. Государство интегрирует когнитивные и оценочные структуры [Бурдые 2016: 329]. Здесь надо пояснить, что логика Жирара и Фуко, на которых я ссылаюсь, различна. Но каждый из них схватывает важные аспекты бытования войны, существенные для данных рассуждений.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СОВЕТСКО-КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

На XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. И.В. Сталин констатировал возникновение новой империалистической войны за передел мира в Европе и Азии. В официальных текстах (включая словари) она получила название Второй империалистической войны. Началась она с вторжения Италии в Абиссинию в 1935 г., и, как отмечалось, «война, так незаметно подкрадываясь к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию — от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара» [Сталин 1997e: 295; Политический словарь 1940: 119]. Зачинщиками этой войны были Германия, Италия и Япония. Англия, Франция и США квалифицировались как «неагрессивные государства». Но уже через несколько месяцев, в ноябре 1939 г. И.В. Сталин в ответе редактору газеты «Правда» утверждал: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну» [Сталин 1997d: 343; Политический словарь 1940: 120].

Такая быстрая смена официальной позиции и негативная характеристика всех участников империалистической войны приводила к дезориентации граждан и порождала некоторую отстраненность и восприятие событий в театральном или спортивном духе. Показательна в этом отношении запись в дневнике М.М. Пришвина от 11 июня 1940 г.: «Немцы подошли к Сене. Мне почему-то приятно, а Разумнику неприятно, и Ляля тоже перешла на его сторону. Разумник потому за французов (мне кажется), что они против нас, как в ту войну стоял за немцев — что они были против нас (хуже нас никого нет). А Ляля потому против немцев теперь, что они победители и ей жалко французов. Я же, как взнуданный, стоял за Гитлера» [Пришвин 2012: 188]. На следующий день он продолжает: «Пока немцы были в опасности и все говорили, что за Гитлера нельзя ставить карту, Ляля стояла в политике за немцев. Когда же немцы подошли к Парижу, то стала жалеть французов и одергивать меня, когда я радовался немецким победам» [Пришвин 2012: 189].

Превращение Второй империалистической войны в Великую Отечественную возвращало общенародный оборонительный и тем самым позитивный смысл (справедливая война и «ярость благородная»). Помимо упомянутых коннотаций, важно иметь в виду политико-идеоло-

гический аспект. В «Директиве Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. указывалась цель агрессии: «Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов» [Директива 1997: 52]. И враг определялся соответствующим образом — немецкий фашизм. В выступлении И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. усиливается классовый, системный характер войны: враг «ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов» [Сталин 1997b: 59].

Намеренная архаизация задач «германского фашизма», приближение их к недавней борьбе за советскую власть и социализм превращала конкретного врага в экзистенциального. Тем самым усиливается легитимация общественного и государственного строя. И войне придается смысл «абсолютной вражды». Собственно, она таковой и была и со стороны нацистской Германии, и объективно.

Здесь можно привести в пример свидетельство современника в отношении немецкой пропаганды в начале войны (29 июля 1941 г.): «Читал германскую листовку, русскую и малограмотную, в которой говорилось, что “мы, немцы, вам никакого вреда не хотим, а только хотим избавить вас от жидов и коммунистов и поставить царя”. Полная бессмыслица!» [Пришвин 2012: 531] (также см.: [Шапорина 2017: 259]).

Смысл войны со стороны Советского Союза предстает как отрицание своего и навязываемого извне социально-исторического прошлого и устремление в прогрессивное будущее.

Вместе с тем в этой же речи происходит переквалификация Англии и Франции из стран-агрессоров, напавших на Германию и ведущих борьбу за колонии и за мировой господство. Сталин говорит о «верных союзниках» — народах Европы и Америки и «в том числе в лице германского народа, поработанного гитлеровскими заправилками» [Сталин 1997b: 61]. Смысл войны расширяется: это освободительная война, являющаяся частью войны поработанных народов «за их независимость, за демократические свободы» [Сталин 1997b: 61].

Идея освобождения других народов достаточно укорена в русском и российском политико-военном дискурсе, являясь частью политико-культурного мифа. Она присутствует в период войн с Наполеоном, в противостоянии с Турцией (особенно во второй половине XIX столетия). Во время Первой мировой войны (она же Вторая Отечественная) Е.Н. Трубецкой писал: «От победы немцев народы Европы могут ждать только поглощения и угнетения. Напротив, победа России и ее союзников, — если только нам суждено одержать ее, — прозвучит для всего мира благой вестью освобождения» [Трубецкой 1914а: 8]. Да и в современных рассуждениях политиков и аналитиков относительно российского участия в гражданской войне в Сирии эти мотивы играют не последнюю роль.

Сталин подчеркивает в своем выступлении, что мы не одиноки, мы на стороне добра и прогресса. Это весьма существенно, так как ориентировано на консолидацию не только сторонников социализма и советской власти, но и оппонентов, а возможно, и противников. Противник в данном случае не враг. Упоминание в тексте Черчилля и правительства США в этом отношении показательно.

Но общественное мнение оказалось распатано от постоянной смены смыслов. И на первом этапе войны возникают разнообразные слухи. М.М. Пришвин фиксирует 11 октября 1941 г.: «Самая популярная политическая ориентация на болоте [село Усолье Ярославской обл., где Пришвин был в эвакуации] в настоящий момент — это что между Германией и Англией состоялось тайное решение о мире и разделе России» [Пришвин 2012: 629]. «В Ленинграде в сентябре ходили слухи о совещании в Москве с Америкой и Англией, они, дескать, требуют, чтобы Ленинград был сдан» [Шапорина 2017: 260]. Другие слухи фиксирует в декабре в Курской области Е.К. Герцык: «Американец Турцию занял и Закавказье», «Америка отступилась от нас» [Герцык 2007: 620, 621]. В апреле 1943 г. в Ленинграде прошел слух: «В Москве заседают англо-американцы, и Сталин сдает им в аренду Ленинград на 25 лет» [Шапорина 2017: 397]. Недоверие в искренность союзнических отношений [Шапорина 2017: 423] была скорее частью общего настроения и смыслового мира советских граждан.

Вместе с расширением круга друзей за счет капиталистических «боевых союзников» произошло и расширение задач войны. Через год руководитель советского государства определил: «Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой исклю-

чительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение поработанных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима» [Сталин 1997с: 124]. Программа вполне демократическая и является зеркальным отражением описанной ранее вождем в этом выступлении программы «итало-германской коалиции». Мы противоположны во всем. И поэтому мы с западными державами. Но мы также разделяем с ними многие ценности, за которые вместе воюем. Мы на стороне добра, воюющего против зла. Это в последующем породило некоторые иллюзии советских граждан относительно возможной эволюции советского режима.

По окончании войны мотивы преимущества социализма и советской власти в связи с победой становятся основными. В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 г. (которую М.М. Пришвин охарактеризовал как «суровую»: «...и после такой-то войны, таких-то страданий, такой победы все те же пятилетки, все те же колхозы и гонка вооружения <...>. Ни одного ласкового слова хотя бы для детей» [Пришвин 2013: 45]) И.В. Сталин говорит о трех «субъектах» победы — общественный строй, государственный строй и вооруженные силы. Факторами, способствующими победе, подготовляющими, явились коллективизация и индустриализация.

Победа в войне стала основанием для важной генерализации: «Теперь речь идет о том, что советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй, что советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй» [Сталин 1997f: 8]. И это не только пропагандистское утверждение. Победа легитимирует победивший социализм (сохранение и укрепление «революционно-социалистической независимости», по словам Л.М. Кагановича [Каганович 1996: 479]) и утверждает его эффективность, очевидную для многих. Сформулированный Сталиным «структурно-институциональный триумвират победителей» существовал в отечественной политической риторике вплоть до конца советской власти. Соответственно и война прежде всего рассматривалась как борьба общественных систем. В общем-то это соответствовало и тотальному характеру «войны абсолютной вражды».

Однако здесь есть нюансы. Победная триада была скорректирована. Через 20 лет после победы Генеральный секретарь так обозначил основных агентов победы: «советский народ, его славная героическая армия, руководимые ленинской партией коммунистов» [Брежнев 1970: 120]. Фактически главный организатор победы и победитель — Компартия. Отличие со сталинским дискурсом наблюдается и в обозначении факторов победы: «Общественная система социализма, ее экономические и организационные возможности, идейное и политическое единство советского общества, советский патриотизм и пролетарский интернационализм, дружба народов СССР, их сплоченность вокруг Коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество Советской Армии — вот главные факторы, определившие победу советского народа в Великой Отечественной войне» [Брежнев 1970: 128–129]. В это же время появляется важный мотив жертв, принесенных народом во время войны: «Гибель советских людей — наша самая тяжелая утрата» [Брежнев 1970: 128]. Частично это было связано, скорее всего, с новыми данными о человеческих потерях Советского Союза. Первоначальная цифра в 7 млн жизней увеличилась до более чем 20 млн. На праздновании 20-летней годовщины победы официально появились обновленные данные о потерях страны [Брежнев 1970: 128].

Но через восемь лет в речи Л.И. Брежнева 11 июля 1973 г. опять происходит корректировка: героический советский народ, Советское государство и великий социалистический строй выступают в качестве кузнецов победы [Брежнев 1974с: 196]. Конечно, армия упоминается, но она уже «зависимая переменная».

Вместе с тем коммунистические идеологические ориентиры при Л.И. Брежневе несколько ослабли, Realpolitik все больше проникает в советское внешнеполитическое взаимодействие с Западом. Визит президента США Р. Никсона «либеральной» и прагматической частью высших чиновников компартии воспринимался как «Рубикон всемирной истории». Заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС А.С. Черняев отмечает в своем дневнике: «С этих майских недель 1972 г. будут датировать эру конвергенции» [Черняев 2010: 20]. В этом же году он делает следующую запись: «У нас идеология идет лишь на внутреннее потребление, т.е. там, где ее можно практически применить государственными средствами. И мы не такие дураки, чтоб заниматься идеологическими упражнениями в деловых, государственных отношениях с теми, кто спокойно может послать нас на...» [Чер-

няев 2010: 25]. В следующем году, рассуждая о роли Л.И. Брежнева, он пишет: «Его заслуга в деле мира безусловна, а значит, и в общем повороте мирового развития к действительному сосуществованию, т.е. к совсем новой эпохе. В корне отличной от той, которая была прямым наследием Октября и войны» [Черняев 2010: 54]. После подписания Хельсинского заключительного акта в 1975 г. тональность изменилась и для внутреннего потребления. В беседе с Феликсом Чуевым 30 июня 1976 г. В.М. Молотов дал следующую характеристику внешней политики и государственной риторики: «Сейчас мы штаны сняли перед Западом. Получается, что основная цель не борьба с империализмом, а борьба за мир» [Чуев 1991: 109, 63]. Тем не менее в автобиографическом тексте Л.И. Брежнева 1981 г. «Чувство Родины» Великая Отечественная война характеризовалась как отстаивание великих завоеваний социализма [Брежнев 1981: 45].

ВОЙНА В ПОСТСОВЕТСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Уолтер Липпман заметил: «Под влиянием пропаганды... старые константы нашего мышления стали переменными» [Липпман 2004: 240]. Прекращение существования СССР, непосредственного победителя в Великой Отечественной войне, превращает ее в *прежде всего исторический факт*: нет социалистического строя и советского государства, которые победили. Остались остатки армии, но уже с другими воинскими знаменами и эмблемами. И здесь обостряется борьба за историю и смысл войны: многое вдруг становится неочевидным.

Память о войне наиболее ярко способствует определению друзей и оппонентов / врагов здесь и сейчас. Кто за нашу память, а кто — против. Происходит осовременивание прошлого. Враг не тот, против кого мы сражались в войне, а тот, кто противостоит нам сейчас. В этом отношении показательны памятные мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны в Польше.

Риторика о войне и смысл войны сильно трансформировались не только в Центральной и Западной Европе. В России изменения также прошли. Если главный мотив в начале войны и в ее конце был отчетливо классовым, то в современной российском властном дискурсе он теряет этот советский стержень. Война предстает в большей мере как война межгосударственная. Пропадает не только ее «межформационный» характер, но и «мировой», связанный с глобальным лидерством

или принципами мироустройства. Одновременно подчеркивается народный характер войны в противопоставлении прежнему властному дискурсу. О.Ю. Малинова указывает, что первый президент РФ и его окружение пытались найти приемлемую для новой власти и ее идеологических установок интерпретацию Великой Отечественной войны. Единственный вразумительный результат: государство и режим не при чем, а победил народ [Малинова 2015: 100]. Причем уже не «советский». Победить уже существующий дискурс, ставший доксой, порождающий целый комплекс смыслов войны и победы, оказалось сложно. Тем более что новые властители сами были продуктом советской индоктринации. Лучшей тактикой властных элит в этих условиях оказалась минимизация суждений о войне и придания им большей абстрактности. Другой путь оказался бы политически затратным. Такого рода ситуацию описывает К.Ф. Завершинский: «Таким образом, “тропа зависимости” политических элит от динамики символических структур политической памяти, сопряженная с попытками их радикального реформирования в процессе реализуемой элитами символической политики, стимулирует появления все новых маргинальных, ситуативных хронотопов жизнедеятельности и растущую конфронтацию идентификационных символических кодов политических сообществ» [Завершинский 2018: 455]. Задачей же властных групп первого буржуазного десятилетия России (особенно после малой гражданской войны 1993 г.) было минимизировать конфронтацию, тем более что контрэлиты были еще достаточно сильны и пользовались серьезной поддержкой в обществе.

Послеельцинское время характеризуется большей активностью элит по переосмыслению войны и Победы. Более того, Великая Отечественная война становится важным смыслообразующим центром в попытках сконструировать идеологию новой России. В выступлении В.В. Путина в честь 70-летия Победы это отчетливо видно: «Наш народ сражался за свои святыни, за Родину, за свой дом, за культуру и родной язык, за нравственные и духовные ценности, за свободу Европы и за мир на планете и в этой праведной, священной борьбе с нацизмом не щадил себя, выстоял и победил!» [Путин 2015].

В этом отношении представляется релевантной типология войн Герфрида Мюнклера. В частности, он пишет: «На самом деле мировая война происходит лишь тогда, когда две державы или два союза борются за лидерство в глобальных масштабах либо когда в соперничестве

крупных держав стоит вопрос о том, какие принципы и правила должны определять мировой порядок. Поэтому мировые войны представляют собой либо войны за полное или частичное мировое господство, либо битву за установление мирового порядка» [Мюнклер 2018: 103]. Война между нацизмом и советской системой и была борьбой за тот мировой порядок, который в соответствующих идеологиях предлагался, а элиты пытались реализовать. Это практическая реализация мессианства этих двух идеологий и мирозозерцаний.

Почему началась война — проблема в наше время не столько историографическая, сколько политико-идеологическая. Обвинение Советского Союза со стороны геополитических противников строятся вокруг договора между Германией и СССР 23 августа 1939 г. В статье В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной 19 июня 2020 г. предлагается *разделенная ответственность*: «...нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами». Но выше в этом же тексте президент РФ указывает на ответственность западных стран: «Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной» [Путин 2020b]. Ошибки и попустительство агрессору. Проблема сводится к политико-дипломатическому взаимодействию. Дискурс империалистического передела мира и системного противостояния перестал быть актуальным.

Еще один аспект осмысления и презентации войны и победы в ней связан с причинами и факторами победы. Если в советской официальной историографии и в речах руководителей он отчетливо связан с системными характеристиками СССР, то при победившем капитализме приходится делать упор на других вещах. В статье В.В. Путина предлагается этнопсихологический и социопсихологический подход: «Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они

защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов». И ниже: «...в характере у народов России — исполнять свой долг, не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству — эти ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по большому счету, во многом держится суверенитет нашей страны». И суждение в советских традициях: «Дружба народов, их взаимопомощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью» [Путин 2020b].

Существенно, что происходит и принципиальное переосмысление понятия «советский народ». Оно уже не связано с советским строем, а является просто совокупностью народов и граждан, проживавших на территории СССР: «Победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом... в этой героической борьбе — на фронте и в тылу, плечом к плечу — стояли представители всех республик Советского Союза» [Путин 2020b]. (Здесь примечательно, что предикат «советский» возвращается.) Это сближает с дореволюционным дискурсом. Е.Н. Трубецкой так представлял особенность войны в 1914 году: «[М]огучий подъем патриотического чувства, который объединяет в одно целое все народы великой империи, *потому что в нем нет национальной исключительности*, нет самообожания, нет того презрения и ненависти к другим народам, которые составляют характерную черту национализма. Никогда единство России не чувствовалось так сильно, как теперь, и, что всего замечательнее, *нас объединила цель не узконациональная, а сверхнародная*. В этом — причина тех симпатий, которые мы вызываем, в этом и источник нашей силы, в этом надежда на нашу победу» [Трубецкой 1914а: 7–8].

Разрыв со смысловой основой интерпретации войны проявляется не только в дискурсе властных персон. Значимым явлением представляется акция «Бессмертный полк». Здесь наглядно присутствует такая характеристика Отечественной войны как общенародность. Поэтому он быстро становится существенным элементом политики памяти и легитимации режима и входит в дискурс политической элиты. Но, в отличие от изначальной общенародности войны и борьбы с врагом, в нем преобладает элемент жертвенности. Эта акция скорее пассивна,

чем активна. Это шествие в память погибших, отделенных от парада победителей. В этом ряду и большее обращение внимания на Холокост. В официальном дискурсе встречается тот же мотив: «...не меркнет память о прошедшей войне, о доблестных защитниках Родины, которые ценой неизмеримых жертв и утрат сокрушили нацизм» [Путин 2019b]; «их жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую они передали нам, никогда не будут забыты» [Путин 2020b]. Контраст, разительный с дискурсом сталинского времени. В.М. Молотов вспоминал в 1979 г. как И.В. Сталин отреагировал на предложение включить в приказ о первом салюте по поводу освобождения городов Орла и Белгорода слова «Вечная память героям, павшим в боях». «Сталин прочитал и сказал: “Знаете, не память, а слава. Память звучит по-церковному. Вечная слава героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины!”» [Чуев 1991: 63].

Выше уже упоминалось о зачатках жертвенного осмысления войны в брежневский период. В речи на параде в честь 50-летия победы 9 мая 1995 г. Б.Н. Ельцин достаточно примечательно высказался: «Пусть сегодняшний день станет для всех нас днем поминовения погибших, днем единения сил добра» [Выступление... 1995]. При том что праздновалась победа. Важным этапом стал Указ Президента РФ от 8 июня 1996 г. «О Дне памяти и скорби». В нем говорится: «Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и независимость нашего Отечества, постановляю: 1. Установить, что 22 июня — День памяти и скорби» [Указ Президента 1996]. О.Ю. Малинова интерпретирует этот акт как попытку уйти от советского идеологического наследия и одновременно уменьшит тему национальной славы и символически сблизит «братские» народы и страны — Белоруссию и Украину [Малинова 2015: 99].

Возможно, эти мотивы присутствовали. Обращение к жертвенности вполне закономерно в условиях отсутствия явной доминирующей идеологии. Примеры можно увидеть на Украине, в Польше, других странах, где национализм подогревается мифом трагедии, становящейся частью государственной идеологии. Событие же Великой Отечественной вой-

ны и понесенные потери слишком значительны и фактически касаются почти каждой семьи, и таким образом идеологический вакуум заполняется. Вместе с тем необходимо сказать, что помимо Победы как позитивного символа окончания войны существует и понимание войны как травмы. Тем более что страна понесла громадные потери. Сопереживание травмы, так же как и победы, может иметь консолидирующую функцию, что не только знают, но и ощущают отечественные элиты. Причем травма войны предстает как многоаспектное событие, разрушившее экономику, пространства жизни, культурные ценности, уничтожившее и покалечившее миллионы людей. Травма страны и граждан. Поскольку нарратив потерь длительное время был тотальным, то и война воспринимается естественным образом как беда, сплывающая всех без социальных границ. Джеффри Александер пишет, что статус травмы связан не столько с объективным характером происшедшего, сколько с его субъективным представлением о негативном влиянии на коллективную идентичность [Александер 2013: 273]. И это социокультурный процесс. Он утверждает: «Событие получает статус травмы, только если упорядоченные смыслы сообщества резко смещаются со своего привычного места» [Александер 2013: 274]. Но как быть с длительностью последствий события? На примере Холокоста социолог показывает воспроизводимость переживания травмы и специальные усилия (теоретиков, политиков, публицистов, гражданских активистов) по поддержанию статуса травмы и расширенной трансляции определенной интерпретации события. Коллективная идентичность в связи с трагическими событиями приобретает гражданский аспект и связывает знание и сопереживание с политическими ценностями сообщества.

В случае Великой Отечественной войны мы имеем схожую ситуацию. Дж. Александр указывает на то, что «у западных народов разовьются драмы травмы, являющиеся функциональными эквивалентами Холокоста» [Александер 2013: 252]. Показательно в этом отношении интервью с Андреем Зайцевым, сценаристом и режиссером художественного кинофильма «Блокадный дневник», получившего главный приз Международного Московского кинофестиваля 2020 г. Он говорит: «Блокаду Ленинграда я ставлю в один ряд с Холокостом. Это одна из величайших трагедий в истории человечества. Одна из самых трагических осад, в которой погибло огромное количество людей, в страшных муках и страданиях. Причем людей сознательно убили голодом» [Нелюбин 2020]. Примечательно и первое судебное признание массо-

вого убийства советских граждан в 1942 г. в Новгородской области геноцидом 27 октября 2020 г. [В России впервые... 2020]. Существенно, что нравственная оценка этих случаев носит универсальный характер. Также и суждения большинства членов российского элитного сообщества о гуманитарной трагедии войны стремятся к моральному универсализму. И смысл войны очевидно помещается в прошлое: это прошлое страдание.

МИССИЯ ВОЙНЫ

В русском, советском и российском политическом дискурсе (впрочем, как и в иных национальных дискурсах) в рассуждениях о войне часто присутствует идея особой миссии. Об этом уже выше говорилось. Во время Первой мировой войны Е.Н. Трубецкой провозглашал: «*Призвание России — быть освободительницей народов*. Оно навязывается ей силой исторической необходимости, ибо оно связано с кровными нашими национальными интересами. Мы твердо должны помнить, что победа может быть достигнута нами не одной только силой русского оружия. Она в значительной мере зависит от того, поверят ли народы в наше призвание» [Трубецкой 1914а: 9]. Этот пафос освобождения как важный элемент нравственного содержания войны подчеркивает справедливый характер противостояния с точки зрения России. Но в разные исторические периоды освобождение несло различную смысловую нагрузку.

Дискурс во время Великой Отечественной войны и долгое время после нее исходил из простых классовых посылок. Миссия — освободить и нести социализм. Это видно по многим текстам советских руководителей. Более того, Победа в войне обеспечила подъем национально-освободительного движения и крушение колониальной системы. Параллельно в 1970-х годах появляется важный мотив «спасения мировой цивилизации» и битвы «за грядущий справедливый мир», «основанной на уважении прав и интересов всех народов» [Брежнев 1974а].

Общегуманитарный смысл миссии подчеркивается и в статье В.В. Путина: «Красная Армия начала освободительную миссию в Европе, спасла от уничтожения и порабощения, от ужаса Холокоста целые народы. Спасла ценой сотен тысяч жизней советских солдат» [Путин 2020b]. Таким образом партикулярный классовый смысл заместился универсальным общечеловеческим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За три четверти века официальное осмысление Великой Отечественной войны существенно изменилось. Властные группы Советского Союза и постсоветской России в формировании политической доксы (в разной степени успешности) символически используют Великую Отечественную войну и победу в ней. Однако их стратегии различны.

Для советско-коммунистического руководства смысл войны в борьбе общественных систем. Победа подтверждает прогрессивность социализма и легитимизирует миссию — освобождение человечества от буржуазно-империалистического гнета, а также объясняет воздействие победы на мировой процесс — освобождение колониальных народов, победа демократии и т.п.

После крушения советской власти элиты стремятся переформатировать культуру, переинтерпретировав войну. Смысл войны изменяется. В современном варианте осмысления войны она предстает прежде всего как борьба государств, т.е. сама по себе. Совершенно затушевывается политико-идеологический аспект. Идеология современных российских властных групп не пускает иные, чем либерально-буржуазные идеологические конструкции в публичное пространство. Но собственного дискурса, в силу недолгой истории капиталистической России и присутствия значительной доли носителей старого советского дискурса, властные элиты не смогли создать. Вместе с тем начинает проявляться геополитический смысл: Европа во главе с Германией против России. Однако, если Л.И. Брежнев, говоря «Наш народ знает, что обе мировые войны пришли в его дом с Запада, из Европы. Мы помним 1941 год» [Брежнев 1974b: 76], имел в виду империалистическое нашествие, то для постсоветских элит, когда они становятся враждебными не по принципу идеологии, а по геополитическому и геоэкономическому основанию, требуется свой дискурс, свой смысл. Европа не капиталистическая, а культурно-цивилизационная. И здесь важно заявление В.В. Путина о России как отдельной уникальной цивилизации [Путин 2019а; 2020а]. То есть война начинает осмысляться как война цивилизаций и культур. Но войне в практической политике придается и важный смысл «независимой переменной». Имплицитно она призвана создать новую российскую общность на основе совместно переживаемой героической и трагической истории, вырабатывающими общую идентичность.

Литература

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культуросоциология / пер. с англ. Г.К. Ольховникова; под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Праксис, 2013. 640 с.

Ачкасов В.А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: сб. науч. тр. / отв. ред. О.Ю. Малинова. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властных ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 126–148.

Барт Р. Разделение языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 519–534.

Брежнев Л.И. Великая победа советского народа. Доклад на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, 8 мая 1965 года // Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1970. Т. 1. С. 118–155.

Брежнев Л.И. Воспоминания: Жизнь по заводскому гудку. Чувство Родины. М.: Прогресс, 1981. 46 с.

Брежнев Л.И. (1974а) За справедливый демократический мир, за безопасность народов и международное сотрудничество. Речь в Кремлевском Дворце съездов на Всемирном конгрессе миролюбивых сил 26 октября 1973 года // Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1974. Т. 4. С. 313–344.

Брежнев Л.И. (1974б) О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 21 декабря 1972 года // Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1974. Т. 4. С. 41–101.

Брежнев Л.И. (1974с) Речь в Большом Кремлевском дворце при получении Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» 11 июля 1973 года // Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1974. Т. 4. С.193–202.

Брусилов А.А. Мои воспоминания: Воспоминания. Мемуары. Минск: Харвест, 2003. 431 с.

Бурдые П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992) / под ред. Патрика Шампаня [и др.]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой; предисл. А. Бикбова. М.: Дело, 2016. 720 с.

Герцык Е.К. Записки в оккупации // Герцык Е.К. Люди и образы / сост., авт. предисл. и коммент. Т.Н. Жуковская. М.: Молодая гвардия, 2007. С.611–630.

Делез Ж. Логика смысла / пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Академия, 1995. 298 с.

Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 15. С. 52–54.

Достоевский Ф.М. Спасет ли пролитая кровь? (Дневник писателя. 1877. Апрель.) // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1995. Т. 14. С. 116–119.

Жиран Р. Завершить Клаузевица: беседы с Бенуа Шантром / пер. с фр. А. Зыгмонта. М.: Изд-во ББИ, 2019. 300 с.

Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания / пер. с фр. В.П. Гайдамака и А.В. Матешук. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. 546 с.

Завершинский К.Ф. Символические измерения социокультурной динамики современных политических элит // Власть и элиты. Т. 5 / отв. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 438–460.

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): краткий курс: одобрен ЦК ВКП(б). 1938 г. М.: Госполитиздат, 1938. 352 с.

Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. М.: Вагриус, 1996. 572 с.

Карабущенко П.Л. Элита и война: фальсификация побед и поражений // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 4 (45). С. 334–339.

Клаузевиц К. О войне: в 2 т. / пер. с нем. А. Рачинского. 3-е изд. М.: Гос. воен. изд-во, 1936. Т. 1. 441 с.

Конт-Спонвиль А. Философский словарь / пер. с фр. Е.В. Головиной. М.: Этерна, 2012. 752 с.

Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 315 с.

Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства / пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. 544 с.

Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. 207 с.

Малинова О.Ю. Политические элиты и производство смыслов в российской политике: к постановке проблемы // Мировой кризис и политические изменения. Политическая наука: ежегодник 2009 / отв. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2010. С. 200–211.

Малинова О.Ю. Политические элиты как «производители смыслов» российской политики: к постановке проблемы // Элиты и общество в сравнительном измерении: сб. ст. / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. С. 280–293.

Мизес Л. фон. Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война / пер. с англ. Б. С. Пинскер. М.; Челябинск: Социум, 2013. 456 с.

Мюнклер Г. Осколки войны: эволюция насилия в XX и XXI веках / пер. с нем. А.И. Лоскутовой. М.: Кучково поле, 2018. 384 с.

Политический словарь / под ред. Г. Александрова, В. Гальянова и Н. Рубинштейна. М.: Госполитиздат, 1940. 672 с.

Пришвин М.М. Дневники. 1940–1941. М.: РОССПЭН, 2012. 880 с.

Пришвин М.М. Дневники. 1946–1947. М.: Новый Хронограф, 2013. 968 с.

Соловьев В.С. Оправдание добра / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. 656 с.

Сталин И.В. (1997a) Выступление на совещании начальствующего состава Красной Армии 17 апреля 1940 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 14. С. 347–360.

Сталин И.В. (1997b) Выступление по радио 3 июля 1941 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 15. С. 56–61.

Сталин И.В. (1997c) Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1942 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 15. С. 117–128.

Сталин И.В. (1997d) Ответ редактору «Правды» 30 ноября 1939 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 14. С. 343.

Сталин И.В. (1997e) Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 14. С. 290–341.

Сталин И.В. (1997f) Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года // Сталин И.В. Соч. М.: Писатель, 1997. Т. 16. С. 5–16.

Трубецкой Е.Н. (1914a) Патриотизм против национализма // Трубецкой Е.Н. Смысл войны. Вып. 1. М.: тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. С. 6–11.

Трубецкой Е.Н. (1914b) Смысл войны // Трубецкой Е.Н. Смысл войны. Вып. 1. М.: тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. С. 17–23.

Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллежде Франс в 1975–1976 учебном году / пер. с фр. Е.А. Самарской. СПб.: Наука, 2005. 312 с.

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат / пер. с нем. и послесл. О.А. Коваль. СПб.: Гуманитарная Академия, 2006. 288 с.

Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. 559 с.

Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М.: РОССПЭН, 2010. 1047 с.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М.: ТЕРРА, 1991. 623 с.

Шапорина Л.В. Дневник: в 2 т. 3-е изд. М.: Новое лит. обозрение, 2017. Т. 1: [1898–1945]. 585 с.

Шмитт К. Понятие политического // Шмитт К. Понятие политического / пер. с нем. под ред. А.Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016. С. 280–408.

Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического / пер. с нем. Ю.Ю. Коринца. М.: Праксис, 2007. 301 с.

Field G.L., Higley J. Elitism. London; Boston: Routledge; Kegan Paul, 1980. xi+135 p.

Источники

В России впервые признали убийства нацистами советских граждан геноцидом // РИА Новости. 27.10.2020. URL: https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html?utm_source=yhnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 27.10.2020).

Выступление президента РФ Б.Н. Ельцина на Красной площади на параде, посвященном 50-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1995 г. // Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр). [Аудиофайл] URL: <http://yeltsin.ru/archive/audio/64420/> (дата обращения: 23.10.2020).

Нелюбин Н. «Немцы окружили город. Стали уничтожать людей. Какие здесь могут быть ещё причины трагедии?»: Интервью с А. Зайцевым // Фон-танка.ру. 21.10.2020. URL: <https://www.fontanka.ru/2020/10/21/69512309/> (дата обращения: 21.10.2020.).

Путин В.В. Выступление на Торжественном приёме по случаю Дня Победы 9 мая 2015 г. // Сайт Президента РФ. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/49440> (дата обращения: 10.08.2020).

Путин В.В. (2019а) Выступление на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября 2019 года // Сайт Президента РФ. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/61719> (дата обращения: 19.10.2019).

Путин В.В. (2019б) Выступление на Торжественном приёме по случаю Дня Победы 9 мая 2019 г. // Сайт Президента РФ. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60493> (дата обращения: 10.08.2020).

Путин В.В. (2020а) Обращение к гражданам России 30 июня 2020 г. // Сайт Президента РФ. 30.06.2020. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/63584> (дата обращения: 1.07.2020).

Путин В.В. (2020б) 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим // Сайт Президента РФ. 19.06.2020. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/63527> (дата обращения: 19.06.2020).

Указ Президента Российской Федерации от 08.06.1996 г. № 857 «О Дне памяти и скорби» // Сайт Президента РФ. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/9515> (дата обращения: 20.10.2020).

WHAT INHERITANCE DO RUSSIAN ELITES REFUSE? (Evolution of the Meaning of the Great Patriotic War in the Power Discourse)

A. Duka

(alexander-duka@yandex.ru)

Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences —
a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia

Citation: Duka A. Ot kakogo nasledstva otkazyvayutsya rossiyskiye elity (evolyutsiya smysla Velikoy Otechestvennoy voyny vo vlastnom diskurse) [What inheritance do Russian elites refuse? (evolution of the meaning of the Great Patriotic War in the power discourse)]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 97–128. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.5>

Abstract. *The article examines the production of the meanings of the Great Patriotic War by the power groups of the Soviet Union and the Russian Federation. Any war presupposes the definition of the enemy and his qualifications. This gives a qualitative definiteness to the war, makes it a political event. This procedure is associated with determining the meaning of a particular war, which is an important political act that contributes to the legitimization of the regime and the existence of power groups. Moreover, comprehending war, power groups and the population include it in the already existing semantic world. Elites may try to influence this process. But their options are limited. The original definition of World War II as imperialist with the entry of the Soviet Union into it has undergone a radical rethinking. The use of the name of the defensive war as Patriotic war, which has already existed since the 19th century, helped in understanding it as a nationwide and just one. The return to the imperious political discourse of these meanings was superimposed on the characteristics of the existing regime, state structure and economic system. At the same time, in Soviet and Communist party documents, in Stalin's speeches, the goal of German aggression was indicated: the destruction of the Soviet system. And the enemy was defined accordingly — German fascism. Thus, the legitimization of the social and state system is enhanced. At the same time, there was a redefinition of allies, enemies, aggressors. England and France turned from aggressors into allies. At the end of the war, the motives for the superiority of socialism and Soviet power in connection with victory become the main ones. But since the 1970s, there has been a gradual change in military discourse, which was associated with a Detente. The end of the existence of the*

USSR, the main winner in the Great Patriotic War, turns it into, first of all, a historical fact: there is no socialist system and the Soviet state, which won. The rhetoric of war and the meaning of war has been greatly transformed. If the main motive at the beginning of the war and at its end was clearly class, then in modern Russian power discourse it loses this Soviet core. The war appears to a greater extent as an interstate war. In the discourse about war, in contrast to the initial nationwide war and struggle with the enemy, the element of sacrifice prevails. These motives are reinforced by the emerging new practices, the most important of which is the “Immortal Regiment”. There is also a rethinking of the “people” as a winner in the war. Accordingly, the mission in the war of the Soviet Union is also being transformed.

Keywords: elites, power groups, meaning of war, the Great Patriotic War, power discourse.

References

Achkasov V.A. Rol' politicheskikh i intellektual'nykh elit postkommunisticheskikh gosudarstv v proizvodstve “poloitiки pamyati” [The role of political and intellectual elites of post-communist states in the production of “politics of memory”]. *Simvolicheskaya politika* [Symbolic politics]. Ed. by O.Yu. Malinova, vol. 1. Moscow: INION, 2012, pp. 126–148. (In Russian)

Alexander J. *Smysly sotsial'noy zhizni: kultursotsiologiya* [The meanings of social life. A cultural sociology]. Moscow: Praxis, 2013. 640 p. (In Russian)

Barthes R. Razdeleniye yazykov [Separation of languages]. Barthes R. *Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, 1989, pp. 519–534. (In Russian)

Bourdieu P. *O gosudarstve: kurs lektsiy v Kollezh de Frans (1989–1992)* [On the State: a course of lectures at the College de France (1989–1992)]. Moscow: Delo, 2016. 720 p. (In Russian)

Brezhnev L.I. (1974a) Za spravedlivyy demokratcheskii mir, za bezopasnost' narodov i mezhdunarodnoye sotrudnichestvo. Rech' v Kremlevskom Dvortse s'yezdov na Vsemirnom kongresse mirolyubivyykh sil 26 oktyabrya 1973 goda [For a just democratic world, for the security of peoples and international cooperation. Speech at the Kremlin Palace of Congresses at the World Congress of Peace Forces on October 26, 1973]. In: Brezhnev L.I. *Leninskim kursom. Rechi i stat'i* [Lenin's course. Speeches and articles]. Vol. 4. Moscow: Politizdat, 1974, pp. 313–344. (In Russian)

Brezhnev L.I. (1974b) O pyatidesyatiletii Soyuzu Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Doklad na sovместnom torzhestvennom zasedanii Tsentral'nogo Komiteta KPSS, Verkhovnogo Soveta SSSR i Verkhovnogo Soveta RSFSR v Kremlevskom Dvortse s'yezdov 21 dekabrya 1972 goda [On the fiftieth anniversary of the Union of Soviet Socialist Republics. Report at a joint solemn meeting of the Central Committee of the CPSU, the Supreme Soviet of the USSR and the Supreme Soviet of the RSFSR in the Kremlin Palace of Congresses on December 21, 1972]. In:

Brezhnev L.I. *Leninskim kursom. Rechi i stat'i* [Lenin's course. Speeches and articles]. Vol.4. Moscow: Politizdat, 1974, pp. 41–101. (In Russian)

Brezhnev L.I. (1974c) *Rech' v Bol'shom Kremlevskom dvortse pri poluchenii Mezhdunarodnoy Leninskoj premii «Za ukrepleniye mira mezhdu narodami» 11 iyulya 1973 goda* [Speech at the Grand Kremlin Palace upon receiving the International Lenin Prize “For Strengthening Peace Among Nations” July 11, 1973]. In: Brezhnev L.I. *Leninskim kursom. Rechi i stat'i* [Lenin's course. Speeches and articles]. Vol. 4. Moscow: Politizdat, 1974, pp. 193–202.

Brezhnev L.I. *Velikaya pobeda sovetskogo naroda. Doklad na torzhestvennom sobranii v Kremlevskom Dvortse s'yezdov, posvyashchennom 20-letiyu pobedy sovetskogo naroda v Velikoy Otechestvennoy voyne, 8 maya 1965 goda* [Great victory for the Soviet people. Report at a solemn meeting in the Kremlin Palace of Congresses, dedicated to the 20th anniversary of the victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, May 8, 1965]. In: Brezhnev L.I. *Leninskim kursom. Rechi i stat'i* [Lenin's course. Speeches and articles]. Vol. 1. Moscow: Politizdat, 1970, pp. 118–155. (In Russian)

Brezhnev L.I. *Vospominaniya: Zhizn' po zavodskomu gudku; Chuvstvo Rodiny* [Memories: Life on the factory dial tone; Sense of Homeland]. Moscow: Progress, 1981.

Brusilov A.A. *Moi vospominaniya: Vospominaniya. Memuary* [My Memories]. Minsk: Harvest, 2003. 431 p. (In Russian)

Celler J. *Proiskhozhdeniye i priroda obshchestvennogo mneniya* [The nature and origins of mass opinion]. Moscow: Fond “Obshchestvennoye mneniye”, 2004. 559 p. (In Russian)

Chernyayev A.S. *Sovmestnyy iskhod. Dnevnik dvukh epokh. 1972–1991 gody* [Joint exodus. Diary of two eras. 1972–1991]. Moscow: ROSSPEN, 2010. 1047 p. (In Russian)

Chuyev F. *Sto sorok besed s Molotovym: Iz dnevnika F. Chuyeva* [One hundred forty conversations with Molotov: From the diary of F. Chuev]. Moscow: TERRA, 1991. 623 p. (In Russian)

Clausewitz K. *O voyne* [About war], in 2 vols. Vol. 1. Moscow: Gosvoenizdat, 1936. 441 p. (In Russian)

Cont-Sponville A. *Filosofskiy slovar'* [Philosophical Dictionary]. Moscow: Eterna, 2012. 752 p. (In Russian)

Creveld M. van. *Rastsvet i upadok gosudarstva* [The Rise and Decline of the State]. Moscow: IRISEN, Mysl', 2011. 544 p. (In Russian)

Deleuze G. *Logika smysla* [The Logic of Sense]. Moscow: Academia, 1995. 298 p. (In Russian)

Direktiva Sovnarkoma Soyuza SSR i TSK VKP(b) partiynym i sovetskim organizatsiyam prifrontovykh oblastey 29 iyunya 1941 goda [Directive of the Council of People's Commissars of the USSR and the Central Committee of the CPSU (b) to the party and Soviet organizations of the front-line regions on June 29, 1941]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol.15. Moscow: Pisatel', 1997, pp. 52–54. (In Russian)

Dostoyevskiy F.M. Spaset li prolitaya krov'? (Dnevnik pisatelya. 1877. Aprel') [Will the spilled blood save? (Diary of a writer. 1877. April)]. In: Dostoyevskiy F.M. *Sobraniye sochineniy v 15 t.* [Collected works in 15 volumes], Vol. 14. St. Petersburg: Nauka, 1995, pp. 116–119. (In Russian)

Field G.L., Higley J. *Elitism*. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1980. xi+135 p.

Foucault M. *Nuzhno zashchishchat' obshchestvo: Kurs lektsiy, pročitannykh v Kollezh de Frans v 1975–1976 uchebnom godu* [Society must be defended: A course of lectures given at the College de France in the 1975–1976 academic year]. St. Petersburg: Nauka, 2005. 312 p. (In Russian)

Gertsyk Ye.K. *Zapiski v okkupatsii* [Notes in the occupation]. In: Gertsyk Ye.K. *Lyudi i obrazy* [People and images]. Moscow: Molodaya gvardiya, 2007, pp. 611–630. (In Russian)

Girard R. *Zavershit' Klauzevitsa: besedy s Benoît Chantre* [Achever Clausewitz (Entretiens avec Benoît Chantre)]. Moscow: BBI Publish., 2019. 300 p. (In Russian)

Hofmeister H. *Volya k voyne, ili Bessiliye politiki. Filosofsko-politicheskiy traktat* [The Will to War, or the Powerlessness of Politics. Philosophical and political treatise]. St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya, 2006. 288 p. (In Russian)

Istoriya Vsesoyuznoy Kommunisticheskoy partii (bol'shevikov): Kratkiy kurs: Odobren TSK VKP(b). 1938 g. [History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Short course: Approved by the Central Committee of the All-Union CP (b). 1938]. Moscow: Gospolitizdat, 1938. 352 p. (In Russian)

Jouvenel B. de. *Vlast': Yestestvennaya istoriya yeye vozrastaniya* [Power: The Natural History of Its Growth]. Moscow: IRISEN, Mysl', 2011. 546 p. (In Russian)

Kaganovich L.M. *Pamyatnyye zapiski rabochego, kommunisto-bol'shevika, profsoyuznogo, partiynogo i sovetko-gosudarstvennogo rabotnika* [Memoirs of a worker, communist-Bolshevik, trade union, party and Soviet-state worker]. Moscow: Vagrius, 1996. 572 p. (In Russian)

Karabushchenko P.L. *Elita i vojna: fal'sifikatsiya pobed i porazheniy* [Elite and War: Falsification of Victories and Defeats], *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura* [Caspian Region: Politics, Economics, Culture], 2015, 4, pp. 334–339. (In Russian)

Koposov N.Ye. *Pamyat' strogogo rezhima. Istoriya i politika v Rossii* [Strict regime memory. History and politics in Russia]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2011. 315 p.

Lippmann W. *Obshchestvennoye mneniye* [Public opinion]. Moscow: Fond "Obshchestvennoye mneniye", 2004. 384 p. (In Russian)

Malinova O.Yu. *Aktual'noye proshloye: Simvolicheskaya politika vlastvuyushchey elity i dilemmy rossiyskoy identichnosti* [Actual past: Symbolic politics of the ruling elite and the dilemmas of Russian identity]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2015. 207 p. (In Russian)

Malinova O.Yu. Politicheskiye elity i proizvodstvo smyslov v rossiyskoy politike: k postanovke problemy [Political Elites and the Production of Meanings in Russian Politics: Towards a Problem Statement]. In: *Mirovoy krizis i politicheskiye izmeneniya. Politicheskaya nauka. Yezhegodnik 2009* [World Crisis and Political Changes. Political Science: Yearbook 2009]. Ed. by A.I. Solov'yev. Moscow: ROSSPEN, 2010, pp. 200–211. (In Russian)

Malinova O.Yu. Politicheskiye elity kak «proizvoditeli smyslov» rossiyskoy politiki: k postanovke problemy [Political elites as “producers of meanings” of Russian politics: to the problem statement]. In: *Elity i obshchestvo v sravnitel'nom izmerenii* [Elites and society in a comparative dimension: collection of articles]. Ed. by O.V. Gaman-Golutvina. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2011, pp. 280–293. (In Russian)

Mises L. von. *Vsemogushchee pravitel'stvo. Total'noyr gosudarstvo i total'naya voyna* [Omnipotent Government. The rise of the total state and total war.] Moscow; Chelyabinsk: Sotsium, 2013. 456 p. (In Russian)

Politicheskii slovar' [Political Dictionary]. Ed. by G. Aleksandrov, V. Gal'yanov i N. Rubinshteyn. Moscow: Gospolitizdat, 1940. 672 p. (In Russian)

Prishvin M.M. *Dnevnik. 1940–1941* [Diaries. 1940–1941]. Moscow: ROSSPEN, 2012. 880 p. (In Russian)

Prishvin M.M. *Dnevnik. 1946–1947* [Diaries. 1946–1947]. Moscow: Novyy Khronograf, 2013. 968 p. (In Russian)

Schmitt C. *Ponyatiye politicheskogo* [The concept of the political]. In: Schmitt C. *Ponyatiye politicheskogo* [The concept of the political]. St. Petersburg: Nauka, 2016, pp. 280–408. (In Russian)

Schmitt C. *Teoriya partizana. Promezhutochnoye zamechaniye k ponyatiyu politicheskogo* [The theory of the partisan. Intermediate remark on the concept of the political]. Moscow: Praxis, 2007. 301 p. (In Russian)

Shaporina L.V. *Dnevnik*: in 2 vols. 3rd ed. Moscow: Novoye lit. obozreniye, 2017. Vol. 1: [1898–1945]. 585 p. (In Russian)

Solov'yev V.S. *Opravdaniye dobra* [Justification of good]. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii, Algoritm, 2012. 656 p. (In Russian)

Stalin I.V. (1997a) *Vystupleniye na soveshchaniy nachal'stvuyushchego sostava Krasnoy Armii 17 aprelya 1940 goda* [Speech at a meeting of the commanding staff of the Red Army on April 17, 1940]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol. 14. Moscow: Pisatel', 1997, pp. 347–360. (In Russian)

Stalin I.V. (1997b) *Vystupleniye po radio 3 iyulya 1941 goda* [Radio speech on July 3, 1941]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol. 15. Moscow: Pisatel', 1997, pp. 56–61. (In Russian)

Stalin I.V. (1997c) *Doklad na torzhestvennom zasedanii Moskovskogo Soveta deputatov trudyashchikhsya s partiynymi i obshchestvennymi organizatsiyami goroda Moskvy 6 noyabrya 1942 goda* [Report at a ceremonial meeting of the Moscow

Council of Working People's Deputies with party and public organizations of the city of Moscow on November 6, 1942]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol. 14. Moscow: Pisatel', 1997, p. 343. (In Russian)

Stalin I.V. (1997e) Otchetnyy doklad na XVIII s"yezde partii o rabote TSK VKP(b) 10 marta 1939 goda [Report on the work of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks at the XVIII Party Congress on March 10, 1939]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol. 14. Moscow: Pisatel', 1997, pp. 290–341. (In Russian)

Stalin I.V. (1997f) Rech' na predvybornom sobranii izbirateley Stalinskogo izbiratel'nogo okruga goroda Moskvy 9 fevralya 1946 goda [Speech at the pre-election meeting of voters of the Stalin electoral district of Moscow on February 9, 1946]. In: Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Vol. 16. Moscow: Pisatel', 1997, pp. 5–16. (In Russian)

Trubetskoy Ye.N. (1914a) Patriotizm protiv natsionalizma [Patriotism against nationalism]. In: Trubetskoy Ye.N. *Smysl voyny* [The meaning of war]. Issue 1. Moscow: Tovarishchestvo tipografii A.I. Mamontova, 1914, pp. 6–11. (In Russian)

Trubetskoy Ye.N. (1914b) Smysl voyny [The meaning of war]. In: Trubetskoy Ye.N. *Smysl voyny* [The meaning of war]. Issue 1. Moscow: Tovarishchestvo tipografii A.I. Mamontova, 1914, pp. 17–23. (In Russian)

Zavershinskiy K. Simvolicheskiye izmereniya sotsiokulturnoy dinamiki somremennykh politicheskikh elit [Symbolic dimensions of socio-cultural dynamics of contemporary political elites]. *Vlast' i elity* [Power and Elites]. Vol. 5. Ed. by A. Duka. St. Petersburg: Intersotsis, 2018, pp. 438–460. (In Russian)

АРХАИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИИ

В.Л. Римский

(vlrim@yandex.ru)

Московский психолого-социальный университет,
Москва, Россия

Цитирование: Римский В.Л. Архаика в обеспечении справедливости в России // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 129–152.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.6>

Аннотация. Представлены проявления архаики в обеспечении справедливости в современной России. Обоснования этих проявлений основаны на результатах эмпирических социологических исследований справедливости в российском обществе, которые осуществлялись в 2019 и 2020 гг. Показано, что российская архаика во многом определяется совместным действием трех факторов: доминированием профессионально-именного кода М.К. Петрова, сословностью и раздаточной экономикой. При этом ведущую роль в закреплении архаики в социальных практиках справедливости играют высшие должностные лица органов власти. Приведены примеры проявлений архаики в обеспечении справедливости в период эпидемии коронавируса COVID-19.

Ключевые слова: справедливость, несправедливость, архаика, сословность, раздаточная экономика, профессионально-именной социокод.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье кратко описаны проявления архаики в обеспечении справедливости в современной России. Суждения основаны на результатах двух взаимосвязанных социологических исследований справедливости в российском обществе, проведенных в сентябре-ноябре 2019 г. и в октябре 2020 г.¹ Целями этих исследований были изучение принципов

¹ Исследования выполнены в рамках исследовательских проектов № 19-011-31443 «Общественный запрос на справедливость и ее обеспечение со стороны государства» и № 20-011-31240 «Справедливость в повседневной жизни и в образе будущего российского общества» при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ.

и критериев справедливости, которые российские граждане используют в различных жизненных ситуациях для оценивания как собственных, так и чужих социальных практик, а также их аргументов и обоснований того, что считать справедливым и несправедливым. Методология этих исследований была основана на теории справедливости Болтански и Тевено [Болтански, Тевено 2013], а также на концепции режимов вовлеченности в обоснования справедливости Тевено [Тевено 2006; Thévenot 2006]. Конкретными методиками в исследовании 2019 г. были настольный анализ ранее проведенных исследований, поисковый телефонный опрос на выборке из 200 респондентов, фокус-группы и глубинные полуструктурированные интервью с гражданами [Римский 2019]. В исследовании 2020 г. конкретными методиками были настольный анализ и массовый телефонный анкетный опрос граждан по репрезентативной российской выборке из 512 законченных интервью.

Проекты 2019 и 2020 гг. стали продолжением и развитием исследования справедливости, выполненного Фондом ИНДЕМ в 2013–2015 гг. Целями работы Фонда ИНДЕМ были изучение представлений о справедливости в сознании российских граждан, а также того, как эти представления используются в социальных практиках. Методология исследования 2013–2015 гг. также основывалась на теории справедливости Болтански и Тевено, а в качестве конкретных методик в нем применялись настольный анализ ранее проведенных исследований, полуструктурированные экспертные интервью, фокус-группы и массовый анкетный опрос граждан по репрезентативной российской выборке из 2058 законченных интервью [Римский 2016а; 2016б].

МИРЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ БОЛТАНСКИ И ТЕВЕНО

Болтански и Тевено в своей социологической теории анализировали справедливость не как совокупность тех или иных абстрактных идей, а как практические способности индивидов определять, какие принципы и критерии справедливости можно или нужно применять в тех или иных жизненных ситуациях. Через осмысление изученных ими практик разрешений трудовых споров во Франции Болтански и Тевено сформулировали концепцию миров справедливости, в каждом из которых индивиды используют характерную именно для этого мира логику обоснования справедливости, отличающуюся от используемых ими логик для других миров. При этом индивиды вполне способны в об-

суждении одной жизненной ситуации переключаться от логики одного мира справедливости к логике другого, и делают это нередко весьма продуктивно для обоснований справедливости. Так, индивиды не только используют миры справедливости, но и участвуют в конструировании реальных социальных практик, характерных для каждого из них. В результате миры справедливости конструируются не только теоретиками — философами, социологами, политологами, но и всеми индивидами, использующими те или иные принципы, критерии, материальные объекты (вещи) и обстоятельства для оценивания и обоснования справедливости в этих мирах. Но такое разделение логики, принципов и критериев справедливости по нескольким мирам повышает для индивидов уровень сложности обоснований справедливости в конкретных жизненных ситуациях и достижения согласий по ним [Болтански, Тевено 2013: 79].

Болтански и Тевено в своей теории справедливости предложили различать шесть миров справедливости с указанием на то, что их число может быть увеличено по результатам последующих исследований. В наших исследованиях шести миров справедливости Болтански и Тевено оказалось вполне достаточно для различения используемых российскими гражданами в их повседневности принципов и критериев справедливости. Эти шесть миров справедливости для конструирования конкретных методик эмпирических исследований были концептуализированы с учетом российских реалий и получили основные характеристики [Болтански, Тевено 2013: 252–328; Ковенева 2008: 11–14; Наумова 2014: 248].

Мир вдохновения

В мире вдохновения справедливость определяется способностями индивидов отдаться вдохновению, а потому малозначимы правила поведения в реальном мире, следование социальным иерархиям, законам, ориентации на денежные измерения ценностей и т.п. В этом мире вполне допустимы внутренние психические испытания тех или иных принципов и критериев справедливости, которые слабо поддаются объективизации или вообще не могут быть объективированы. Решения о справедливости или несправедливости в этом мире практически не ориентируются на мнения других индивидов. В этом мире очень важны эмоции, чувства, страсти, которым индивиды доверяются для конструирования своих решений о справедливости или несправед-

ливости. Поэтому решения о справедливости или несправедливости в этом мире не всегда можно объяснить рационально. Тем не менее такие вдохновенные личности своей оригинальностью и самобытностью служат другим людям и помогают им находить общее благо, преодолевая и даже отбрасывая мешающие этому стандарты и стереотипы.

Мир патриархальный

В патриархальном мире решения о справедливости или несправедливости определяются положениями индивидов в социальных иерархиях, основанных на личных зависимостях, личных взаимоотношениях и взаимном доверии к своему социальному окружению. В этом мире малозначимы и редко используются средства оценивания справедливости по объективным, общезначимым для всех индивидов правилам, а доминируют правила, способствующие установлению и поддержанию иерархических отношений между индивидами. Очень значимыми для принятия решений о справедливости или несправедливости в этом мире являются внешние признаки принадлежности к тому или иному уровню той или иной социальной иерархии. За известными личностями внешние признаки принадлежности к уровням социальных иерархий нередко закрепляются пожизненно, препятствуя переоценкам справедливости или несправедливости их решений и поведения.

В патриархальном мире социальный порядок и согласие между индивидами, необходимые для достижения и поддержания справедливости, нередко устанавливаются обращениями к традициям, воплощающим установленные социальные иерархии. Поэтому в этом мире ценятся стабильность, приличия, правильное, нравственное поведение, преемственность, награды по заслугам от начальников и вышестоящих в социальных иерархиях лиц. Малозначимы универсальные, независимые от социальных иерархий нормы законов, точность и результативность в решении поставленных задач, достижении целей.

В патриархальном мире распространены представления о том, что в оценках справедливости необходимо ориентироваться на образцовое поведение известных, уважаемых лиц, занимающих вышестоящие позиции в социальных иерархиях, и доверять им. Вышестоящие лица, в свою очередь, являются авторитетами, достаточно информированы и несут ответственность за обеспечение справедливости среди простых людей. Поэтому наиболее значимые принципы и критерии справедливости проявляются в этом мире в решениях и действиях лиц, занимающих высшие позиции в социальных иерархиях.

Мир репутаций

В мире репутаций решения о справедливости или несправедливости принимаются на основе общественного мнения, мнений лиц, референтных для тех или иных индивидов, а также на основе моды на такие мнения. Поэтому согласие по принципам и критериям справедливости в мире репутаций достижимо лишь при опоре на мнения других индивидов, а не на собственные. В этом мире известность определяет и уравнивает по уровням доверия к ним авторитеты в общественном мнении. Малозначимыми для идентификации таких авторитетов являются их объективные качества, такие как профессия или профессиональные достижения. А известность авторитетов обеспечивается их группами поддержки, клиентами. И такая известность в принципе может быть достигнута любым индивидом, независимо от его позиции в той или иной социальной иерархии, например с помощью осуществления массовой коммуникации в свою поддержку. Между тем такие авторитеты как носители значимых принципов и критериев справедливости не имеют устойчивых свойств и качеств личностей, а все вещественные свидетельства доверия к ним являются временными. Авторитеты в мире репутаций непостоянны, при изменениях условий и ситуаций они могут очень быстро забываться и заменяться другими. Это приводит к высокой степени уязвимости для критики применяемых в этом мире принципов и критериев справедливости. Не очень приятным для авторитетов общественного мнения является и то, что обеспечение признания публики требует от них отказов от секретности и закрытости сведений о себе, своей частной жизни, а также отсутствия непонятности и загадочности в их поведении.

Гражданский мир

В гражданском мире наибольшую значимость имеют принципы и критерии справедливости, поддерживаемые не отдельными индивидами, а коллективами, объединениями граждан. И ценности тех или иных принципов и критериев справедливости во многом определяются тем, от каких коллективов они представляются. Но любые коллективы индивидов всегда включены в другие, объемлющие их коллективные образования, вплоть до всего человечества в целом, хотя реализуется гражданский мир всегда в рамках того или иного государства, наилучшим образом в демократическом государстве.

В гражданском мире все индивиды, независимо от их личностных и иных качеств, в том числе национальность и этничность, включены в единый порядок справедливости, который реализуется отдельными коллективами. В этом мире собственная воля индивида подчиняется общей воле его коллектива и вышестоящих коллективов, что позволяет преодолевать разделяющие индивидов разногласия и достигать согласий по справедливости. Важнейшим критерием справедливости в гражданском мире является обеспечение общего блага членов коллективов, объединений граждан. В этом мире важны проявления солидарности и выражения общих интересов индивидов, отстаивание прав и свобод человека и гражданина, соблюдение законности, общей для всех граждан, процедур, протоколов и других формальностей. Эти формальности являются свидетельствами прав на доверие представляемым принципам и критериям справедливости, а также создают возможности контроля поведения представителей объединений.

Мир рынка

Социальное поведение индивидов в мире рынка определяется их желанием обладать одними и теми же объектами, причем объектами редкими, а не общественными благами. Поэтому основой принципов и критериев справедливости в мире рынка являются эгоизм, но учитывающий границы его применения, конкуренция, осуществляемая по общим для всех правилам, и успешность получения благосостояния на её основе. Для реализации таких принципов и критериев в рыночном мире поддерживается свобода индивидов, их независимость от личных связей и социальных иерархий, чтобы они могли легко заключать рыночные сделки.

Качества индивидов, не относящиеся к качествам продавцов и покупателей, в мире рынка в расчет не принимаются. От общих мнений в рыночном мире следует воздерживаться. Споры в этом мире регулируются с помощью цен, выражающих уровни значимости желаний индивидов. Успешность в этом мире определяется достигнутым уровнем богатства, владением ценностями, имеющими рыночные цены. Поэтому и сами индивиды имеют рыночную ценность в этом мире: ценятся богатые, а бедные практически не имеют никакой ценности.

Принципы и критерии справедливости рыночного мира не учитывают ни границ, ни расстояний, ни времени, они действуют одинаково для любых рынков, включая национальные и мировые. Цены на рынках

постоянно меняются, поэтому нестабильность в этом мире оценивается скорее позитивно, чем негативно, случай может принести и неудачу, и удачу, что оценивается как обеспечение справедливости. Согласие по справедливости в рыночном мире достигается через признание успехов или неудач индивидов в рыночной конкуренции, осуществляемой по признаваемым обществом правилам.

Мир науки и техники

Это мир, в котором индивиды оперируют техническими объектами и используют научные методы в своей деятельности. Принципы и критерии справедливости в мире науки и техники основываются на признании ценности научно-технического порядка с его качествами поддержки эффективности и результативности как индивидов, так и технических объектов, а также производительности производства. В этом мире ценятся нормальное функционирование производства, его польза для потребителей и соответствие их запросам. Правильное функционирование индивидов и технических объектов позволяет продолжить настоящее в будущее. Поэтому в мире науки и техники значимой ценностью является прогнозирование и планирование будущего, причем планирование реалистичное, основанное на применении научно обоснованных методик. В мире науки и техники значимыми ценностями являются потребительские качества вещей, а не их цена, как в мире рынка. Другим отличием от мира рынка является то, что в мире науки и техники необходимо учитывать границы, расстояния и время. В этом мире справедливо поддерживать способности, профессиональные компетенции, рабочую силу и трудовой потенциал индивидов, потому что их координация позволяет обеспечить эффективность производства и научных достижений. Здесь значимые ценности — обеспечение прогресса, инноваций и инвестиций в развитие, что сопровождается разрывами традиций.

МИРЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Участники проведенных исследований использовали не все, но некоторые смыслы, принципы и критерии миров справедливости Болтански и Тевено. Это никогда не происходило по их инициативе, но осуществлялось вполне успешно, когда им предлагалось оценивать те или иные модельные или реально происходившие жизненные ситуации.

Формулировки принципов и критериев справедливости участников исследований почти никогда не совпадали с описаниями миров Болтански и Тевено. По результатам проведенного анализа собранные в исследованиях формулировки принципов, критериев и конкретных обоснований справедливости и несправедливости осмыслились и распределялись по типам исходя из их близости к описаниям тех или иных миров справедливости. В результате получились наборы характеристик миров справедливости в представлениях и оценках граждан — участников исследований, которые в кратком изложении представлены ниже.

Принципы и критерии мира вдохновения сравнительно редко использовались участниками исследований, в основном когда они приводили религиозные обоснования справедливости. Такие критерии не были конкретными, участники исследований относили их к возможностям достижения согласия между представителями тех или иных религиозных конфессий. Но для неверующих или относящихся к другим конфессиям граждан согласие по справедливости на принципах и критериях этого мира представлялось малореальным. Чуть больше участники исследований надеялись на то, что какие-то вдохновенные личности с высокими моральными качествами сумеют предложить решения тех или иных социальных проблем на основе общего блага. Тем не менее ни одной конкретной вдохновенной личности никто из них не назвал: они неизвестны участникам исследований.

Принципы и критерии мира патриархального постоянно применялись участниками исследований в обоснованиях их суждений о справедливости, в частности привязанность к социальному окружению, ориентация на личные отношения, заслуги перед государством, соблюдение традиций, общепринятых норм морали и нравственности. Большое значение участники исследований придавали воспитанности индивидов, их хорошим манерам, уважению к другим. Принципы и критерии этого мира можно оценить как наиболее понятные и наиболее часто используемые российскими гражданами.

Принципы и критерии мира репутаций сравнительно редко применялись участниками исследований. Они в целом признавали значимость общественного мнения и даже моды на оценивание того, что справедливо, а что несправедливо в той или иной жизненной ситуации. Но никакие лидеры общественного мнения не являлись для них референтными в сфере справедливости, ни на какие мнения известных личностей никто из участников исследований не ссылался. Не ссылались

они и на героев тех или иных литературных произведений или кинофильмов. При этом нередко участники исследований высказывали доверие мнениям индивидов и общественному мнению, которые они узнавали из СМИ или интернета. В некоторых случаях участники исследований соглашались с мнениями неизвестных им индивидов, журналистов, блогеров. Мир репутаций осваивается российскими гражданами, его принципы и критерии справедливости получают у них определенное доверие, а вот лидеры общественного мнения — пока сравнительно редко.

Принципы и критерии гражданского мира упоминались участниками исследований в большинстве случаев в качестве желаемых, но пока не реализуемых. Это принципы и критерии, определяемые необходимостью осуществления общей воли широких социальных групп и даже большинства общества, обеспечения прав и свобод граждан и социальной солидарности между ними. Но сам термин «социальная солидарность» никто из них не использовал, сущность этого понятия никогда не формулировалась более или менее точно. Это свидетельствует о низком уровне социальной солидарности в российском обществе, притом что ее необходимость гражданами осознается.

Принципы и критерии мира рынка упоминались некоторыми участниками исследований, но почти всегда высказывалось несогласие с ними, в частности с эгоизмом индивидов, получением ими благосостояния только на основе рыночных взаимодействий без учета норм морали и нравственности. Недоверие вызывали у участников исследований принципы и критерии справедливости, основанные на конкуренции, потому что они не верили в честность конкуренции в российских условиях. Вместе с тем в дискуссиях на фокус-группах, когда высказывались предложения по справедливым решениям тех или иных социальных проблем, никогда не делалось попыток оценить их рыночные стоимости. А ведь невозможно реализовать то или иное предложение в социальной или экономической сфере при недопустимо высокой его стоимости. Например, на фокус-группах обсуждалась необходимость повышения несправедливо низкой оплаты наемного труда в нашей стране практически во всех отраслях. И вполне реалистично участники фокус-групп утверждали, что работодатели не будут этого делать, но сделать это должно государство, потому что оно должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать их право на благополучную жизнь. По сути, это принципы справедливости патриархального мира, которые

в ситуации рыночных отношений оказались ближе и понятнее участникам исследований, чем принципы мира рынка.

Принципы и критерии мира науки и техники редко упоминались участниками исследований, им сложно было связать справедливость с научно-техническим прогрессом, производительностью труда и даже квалификацией специалистов. Но для некоторых ситуаций такая связь в их суждениях обнаруживалась. Наиболее понятными участникам исследований были принципы справедливости, основанные на эффективности и ее способствовании прогрессу в той или иной сфере. Так, на одной из фокус-групп обсуждалась проблема применения жителями некоторых многоквартирных домов в городе методов потребкооперации для обеспечения обслуживания в жилищно-коммунальной сфере. Участники фокус-группы пришли к согласию, что было бы справедливо применять такой опыт, о котором рассказал один из них. Помехой в распространении такого опыта всеми считались органы власти, не заинтересованные в таком новшестве. В этом примере участники фокус-группы применили принципы справедливости как мира науки и технологий (эффективность для обслуживания домов), так и гражданского мира (использование потребкооперации как объединения жителей-граждан для этой цели). Пример показывает, что российские граждане, в соответствии с теорией Болтански и Тевено, могут применять принципы разных миров справедливости для оценивания различных аспектов одной ситуации.

Участники и фокус-групп и полуформализованных интервью чаще всего уходили от обсуждений аспектов именно справедливости тех или иных ситуаций, которые им предлагались в качестве стимулов. Они чаще всего сосредоточивались на обсуждениях содержательных аспектов ситуаций, того, что необходимо было сделать для их разрешения. А обоснования справедливости вариантов разрешения этих ситуаций волновали участников исследований существенно меньше, они ориентировались в своих суждениях на некие правильности, удобства, обеспечение благосостояния граждан, что лишь косвенно можно было оценить в качестве принципов справедливости. Участники исследований признавали при этом, что невозможно обеспечить правильность и справедливость решений с точки зрения всех сторон этих ситуаций, и никакими решениями невозможно обеспечить удобство и поддержку благосостояния всех участников ситуаций. Поэтому в более или менее сложных реальных социальных ситуациях без обсуждений справедли-

ности предлагаемых решений всегда будут находиться те, кто оценит принятые решения как несправедливые по отношению к себе.

Обсуждать принципы и критерии справедливости вместе с содержательными аспектами решений ситуаций у российских граждан не получается, что подтвердили проведенные в исследованиях фокус-группы. Эти дискуссии моделировали публичные обсуждения аспектов справедливости различных жизненных ситуаций, как гипотетических, так и реально происходивших. Последние нередко предлагали для обсуждений сами участники фокус-групп, потому что видели в них важные для себя аспекты справедливости и несправедливости. Тем не менее обсуждения гипотетических и реально происходивших ситуаций почти во всех фокус-группах сосредоточивались на вариантах их решений, на содержательных аспектах этих вариантов, а обсуждения того, насколько они справедливы, если и начинались, то прекращались довольно быстро. Это происходило без достижения согласий участников дискуссий и без попыток найти объединяющие всех принципы и критерии справедливости в конкретных ситуациях.

Было заметно, что участники дискуссий на фокус-группах редко оказывались способными понятно для других изложить свои принципы и критерии справедливости. И столь же редко они оказывались способными выслушать и понять предлагаемые другими принципы и критерии. Как правило, участники дискуссий на фокус-группах оценивали для себя внимание к аргументам и позициям оппонентов как форму согласия с ними. А согласие с оппонентами представлялось им неправильным, они скорее вступали в споры с ними с целью переубедить, поставить оппонентов на свои позиции, чем с целью понимания чужих позиций без принятия их для себя. Однако без понимания позиций оппонентов невозможно предложить им какие-то варианты справедливости, которые они могли бы принять, например, на основе общих ценностей. Поэтому на фокус-группах дискуссии о справедливости в конкретных жизненных ситуациях почти всегда заходили в тупик.

Можно представить себе достаточно простые жизненные ситуации, в которых все участники более или менее одинаково понимают принципы и критерии справедливости. И тогда они могут приходиться к согласию по справедливым решениям ситуаций. Но большинство реальных жизненных ситуаций иные, более сложные, неоднозначные для оценивания разными категориями граждан. Дискуссии с предъявлениями оппонен-

там различных принципов и критериев справедливости, ее обоснований, с пониманиями оппонентами друг друга могли бы способствовать достижению согласий в таких ситуациях. Но российские граждане, как показали проведенные исследования, не обладают умениями вести такие дискуссии, а потому вступают в них крайне редко и еще реже продуктивно, т.е. с достижениями согласий о справедливости.

Умения российских граждан вести продуктивные дискуссии о справедливости могли бы формироваться и развиваться в тех или иных социальных практиках публичных обсуждений различных проблем. Но такие дискуссии в современной России практически не проводятся, а в нередких публичных обсуждениях спорных ситуаций и конфликтов никогда не ставится целью достижение согласия по справедливости их решений. Участники таких дискуссий оказываются готовыми к согласию по справедливости только тогда, когда им представляется обоснованными принципы и критерии справедливости одного общего для них мира. Болтански и Тевено утверждали, что множественность принципов и критериев справедливости во множественных ее мирах «характеризует сложно структурированное общество» [Болтански, Тевено 2013: 79]. С этим утверждением французских социологов следует согласиться, и сделать вывод о том, что по этой характеристике современное российское общество не может считаться сложноструктурированным.

ТРИ ФАКТОРА АРХАИЗАЦИИ В РОССИИ

Существенной проблемой в обеспечении справедливости в современной России является архаизация пониманий и практик справедливости и гражданами, и органами власти, и элитами при ведущей роли высших должностных лиц органов власти. Для подтверждения этого вывода сначала представим три основных фактора архаизации — профессионально-именной социокод, сословность и раздаточную экономику [Римский 2020], а затем опишем их действие в сфере социальных практик справедливости.

В соответствии с концепцией А.С. Ахиезера [Ахиезер 2001: 89] архаизация понимается как «следование общества и органов государственной власти культурным образцам и программам, сложившимся в культурах, предшествующих современным» [Римский 2018: 151]. Архаизация проявляется во всех современных обществах и государствах в использовании ими опыта и знаний предшествующих поколе-

ний, соответствующих стандартов и стереотипов восприятия и оценивания реальности, методов решений общественных и других проблем, эффективность которых проверена в прошлом. Но когда в этих стандартах, стереотипах и методах доминирует архаика, она становится препятствием для поиска и реализации решений сложных современных проблем, существенно отличающихся от решавшихся в прошлом [Римский 2020: 72–73].

Важнейший фактор архаизации общества и органов власти в современной России — приверженность профессионально-именному социокоду М.К. Петрова [Петров 1995; 2004]. Как известно, любая информация существует только в закодированном виде, представляющем ее форму. По этой форме при передаче информации в человеческой коммуникации ее получатели восстанавливают переданные им смыслы. Естественно, такое восстановление никогда не может дать смыслы, полностью идентичные исходным, ее источников. Результаты восстановлений смыслов информации во многом определяются особенностями кодов, используемых в человеческой коммуникации. Общая культура и общие социальные практики индивидов развивают и совершенствуют их умения и навыки декодирования получаемой информации, что позволяет им в большинстве случаев понимать друг друга и участвовать в совместной деятельности. Поэтому тип применяемого кодирования социальной информации является значимым фактором и самой человеческой коммуникации, и используемых ее участниками стандартов, стереотипов восприятия и оценивания реальности, а также методов решений общественных и других проблем.

Эта значимость способов кодирования социальной информации, названных М.К. Петровым социокодами, и привела к их изучению. Эти социокоды развивались в соответствии с особенностями стадий развития человечества. М.К. Петров выделил три основных типа социокода: лично-именной, характерный для первобытных обществ, профессионально-именной, характерный для первых цивилизаций и сохранившийся в Западной Европе в Средние века, и универсально-понятийный, возникший в Древней Греции и используемый развитыми странами Западной Европы примерно с XVI–XVII вв. [Римский 2018: 156–165].

Отметим, что в профессионально-именном социокоде индивид описывается принадлежащим к своей профессиональной группе, ремесло которой определяло его жизнь и, как правило, передавалось по наследству. А социальную интеграцию обеспечивают традиции,

ритуалы, мифы, мораль и нравственность, а также государственная власть [Петров 1995: 197–198; 2004: 105–107]. Профессионально-именной социокод способствует поддержке стабильности использующих его обществ и государств, но только в условиях отсутствия резких изменений природных и социальных условий.

Универсально-понятийный социокод существенно повышает возможности адаптации к быстрым и не всегда предсказуемым изменениям условий существования. Этот социокод соединяет общественное и личное, общие понятия и частные решения конкретных проблем с их использованием, позволяет развивать науку в современном понимании — с выдвижением гипотез и их проверкой с помощью эмпирических методик. Более того, только универсально-понятийный социокод позволил сделать науку эффективным средством модернизации обществ и государств, внедрения и эффективного применения разнообразных технологий. В сложных ситуациях существования именно универсально-понятийный социокод позволяет его носителям достаточно эффективно находить и осваивать новые профессии, внедрять новые технологии, обеспечивать функционирование институтов современной рыночной экономики, обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Поэтому только универсально-понятийный социокод оценивается нами как современный, а два других — как архаические [Римский 2020: 73–75].

Современные российские чиновники важнейший смысл своей деятельности видят в соблюдении дисциплины, подчинении своим начальникам и делегировании им многих своих прав и свобод при исполнении служебных обязанностей. Принятие решений всегда отдается на уровень высшей бюрократии, которая не имеет реальных возможностей глубоко вникать в возникающие проблемы, применять научно обоснованные методы для их анализа и формирования вариантов решений. Для решений таких проблем и высшая бюрократия, и исполнители в органах власти редко используют или вообще не используют диалоги, коммуникации с различными группами граждан и специалистов. Поэтому решения, принимаемые и исполняемые органами власти, скорее поддерживают своеобразную «бюрократическую игру», означающую формальное следование нормам законодательства с неформальным выходом за их пределы при необходимости (только для высших должностных лиц), а также следование формальным и неформальным правилам поведения в своей социальной среде. Кроме

того, как высшие должностные лица, так и исполнители в системе государственного и муниципального управления в своих профессиональных практиках редко и с трудом используют смыслы, понятия и представления, относящиеся к научно обоснованным решениям общественно значимых проблем. Наука для них остается составляющей образования с не всегда понятной значимостью, но не инструментом их реальной профессиональной деятельности. Такие особенности их сознания и социальных практик можно объяснить приверженностью профессионально-именному социокоду, а не современному универсально-понятийному [Римский 2020: 76–77].

Профессионально-именному социокоду привержено и подавляющее большинство российских граждан, потому что они постоянно воспринимают архаические смыслы и представления, транслируемые им через СМИ, социальные сети и интернет-сайты высшими должностными лицами органов власти. Способствует закреплению приверженности граждан профессионально-именному социокоду и то, что они постоянно участвуют в исполнении принимаемых органами власти решений, представленных именно этим социокодом. Так, российские элиты постоянно демонстрируют гражданам свое одобрение обращенности в прошлое, а также поиск именно в этом прошлом вариантов решений современных проблем. Декларируемые элитами и органами власти возможности современных технологий для их решений на деле реализуются с существенными ограничениями, соответствующими архаическими представлениями о необходимости обеспечения стабильности во всех сферах, а не их развития. В современной российской ситуации новые по форме институты, нормы и правила используются для поддержания архаичных способов реализации политики и государственного управления [Римский 2018: 165–166].

В современном российском обществе и государстве заметны проявления сословности, хотя формально не существует никаких законодательных норм, явно описывающих те или иные сословия. Но в России действуют нормы, определяющие особые привилегии и права конкретных социальных групп за выполнение ими обязанностей служения государству, определенных государственных функций или обслуживания тех, кто эти функции выполняет [Римский 2020: 77].

Современные сословия отличаются от сословий древности и Средневековья особенностями служений государству и тем, как и какие сословия они обслуживают. Но современные сословия сохраняют глав-

ный принцип организации обществ с доминированием профессионально-именного социокода: формирование сословий по традиции или целенаправленно государством, разделение общества по профессиям, сферам служений государству или обслуживаний других сословий, обеспечение доходов за эти служения [Римский 2020: 78].

Российское государство создало и продолжает создавать такие социальные группы, которые вполне логично определять как сословия. Такими сословиями не только по нормам законов, но и по неформальным правилам служения и поведения могут считаться социальные группы судей, прокуроров, полицейских, Росгвардии, высших должностных лиц государственной службы, военнослужащих и некоторые другие [Римский 2020: 77].

Помимо сословий, в российском обществе существуют и профессионально-отраслевые корпорации, которые государство либо создает как сословия, либо предоставляет им право освоения тех или иных ресурсов, имеющих государственную значимость. Нередко такие корпорации включают представителей разных групп и социальных статусов, объединенных общими интересами сохранения своих прав и привилегий. В этом отношении такие профессионально-отраслевые корпорации сходны с сословиями и потому далее не упоминаются. Кроме того, в современной России существуют также классы, выделяемые по уровням потреблений своих членов. Доходы классов определяются на рыночных основаниях, а не решениями органов власти, хотя органы власти регулируют их доходы [Римский 2020: 78].

Сословность проявляется и в том, что российское государство распределяет сословиям для выполнения ими своих функций различные ресурсы: нефть, газ, финансы, цифровые данные и др. За выполнение сословиями своих функций государство пропорционально значимости их служений распределяет его членам доходы в соответствии с их социальными статусами, ведь сословия социально неоднородны — в них есть и представители элит, и рядовые исполнители принятых решений. Такие доходы не являются рыночными, они определяются не по результатам труда, а именно по значимости служений [Римский 2020: 77].

В российской экономике интересы сословий реализуются в первую очередь, потому что это фактически интересы государства. Но эти сословные интересы определяют освоение доверенных сословиям ресурсов, но не их преумножение или развитие. Такая экономика не является рыночной, ее можно назвать «раздаточной». О.Э. Бессонова

определяет эту экономику так: «Раздаточная экономика — экономическая система, в которой нерыночные механизмы играют доминирующую роль, а рыночные — вспомогательную. Модель раздатка включает отношения сдач-раздач, общественно-служебную собственность и административные жалобы в виде обратной связи, а модель рынка — это отношения купли-продажи, частная собственность и прибыль как сигнальный институт» [Бессонова 2018: 22].

Раздаточный характер российской экономики вполне согласуется с сословностью. Раздачи ресурсов по служениям, чинам и заслугам осуществляет государство, «сдачи» ресурсов для пополнения государственного бюджета осуществляют сословия и классы. Пропорции сдач-раздач складываются в течение длительных периодов времени, и соблюдение этих пропорций обеспечивает динамическую стабильность общества и государства. Небольшие нарушения этих пропорций устраняются по результатам рассмотрений жалоб и доносов [Римский 2020: 79]. Но для устранения существенных нарушений у экономической и государственной системы нет инструментов. Поэтому российское государство согласованно с сословиями поддерживает эту архаичную социальную структуру общества и архаичную раздаточную экономику, смыслы которых наиболее адекватно представляются архаичным профессионально-именным социокодом.

ДОМИНИРОВАНИЕ АРХАИКИ В ПОНИМАНИЯХ И ПРАКТИКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Когда российские граждане думают о справедливости безотносительно к конкретным ситуациям, они в ответах на соответствующие исследовательские вопросы упоминают принципы и критерии справедливости из разных миров Болтански и Тевено. Но в ситуациях своей повседневности наши граждане чаще обосновывают справедливость принципами и критериями мира патриархального, которые следует относить к архаическим. В этом мире ценностями являются соблюдение социальных иерархий и традиций, а также поддержание личных отношений между обладающими той или иной властью и подчиняющимися этой власти. Справедливость в этом мире определяется общим благом, обеспечение которого требует соблюдения социальных иерархий, традиций, родственных и личных отношений между индивидами [Ковенева 2008: 11–14]. В наших исследованиях к этим принципам

справедливости нередко добавлялись обеспечение взаимного уважения между людьми, правды и истины, честности в межличностных отношениях и соблюдение норм морали и нравственности в них. Честность выделялась отдельно от остальных норм морали и нравственности. Эти дополнительные принципы нами было решено относить также к патриархальному миру в силу схожести мотивов их использования в социальных практиках с мотивами использования принципов поддержания социальных иерархий, традиций, личных и родственных отношений.

В некоторых ситуациях, которые предлагались для оценивания, участники исследований использовали принципы и критерии справедливости рыночного мира, гражданского мира, а также мира науки и технологий. К таким принципам и критериям можно отнести, в частности, справедливость как эффективность, содействие развитию технологий, поддержание честной конкуренции на рынках, признание успеха в коммерческой деятельности, соблюдение прав и свобод граждан. Но, когда такие принципы и критерии высказывались некоторыми участниками исследований, многими другими они не признавались и отвергались в качестве принципов и критериев справедливости. Исключение составили принципы соблюдения прав и свобод граждан, с которыми все участники исследований всегда соглашались. И практически всегда между ними наблюдалось согласие в том, что такими критериями и принципами российские органы власти руководствуются нечасто.

Существенно чаще органы власти для конструирования справедливых с их позиций решений общественных проблем и конфликтов используют принципы и критерии патриархального мира: поддержание социальных иерархий, социальной стабильности, традиций, поощрения по заслугам и наказания за невыполнения обязательств и т.п. Определяют применение этих принципов и критериев, безусловно, высшие должностные лица органов власти, транслируя их исполнителям в самих органах власти через бюрократическую систему и гражданам через СМИ, социальные сети и интернет-сайты. Поэтому ведущую роль в доминировании архаичных патриархальных принципов и критериев в обществе и государстве играют высшие должностные лица органов власти.

Проведенные исследования показали, что российские граждане считают несправедливым существенные различия уровней благосостояния в обществе. Участники исследований не могли описать причины таких существенных различий, не могли сформулировать никаких

реальных предложений по сближению уровней благосостояния различных социальных групп. Но в сословном обществе и в раздаточной экономике уровни благосостояния большинства социальных групп определяются раздачами ресурсов государством. А государство их раздает в соответствии со значимостями служений сословий и влиятельностью входящих в них элитных социальных групп, не согласуя их с гражданами невысоких статусов. И сложности формулирования предложений по снижению степени дифференциации благосостояния в обществе в том, что и у граждан, и у высших должностных лиц органов власти, принимающих решения, в сознании нет представлений об организации общества и экономики на иных, не архаичных принципах. Фактически участники исследований высказывались за то, чтобы все имели равные права на получение раздатков от государства, т.е. чтобы этот раздаток реально осуществлялся по заслугам, а не в соответствии с высокими или низкими социальными статусами и влиятельностью. Но такие пожелания граждан не могут быть реализованы без отказа от архаики в экономике, социальной сфере и государственном управлении.

В условиях эпидемии нового коронавируса COVID-19 в нашей стране проявились новые подтверждения желаний и возможностей высших должностных лиц органов власти и сословий укрепить архаику, а не отказаться от нее. Так, в полном соответствии с принципами раздаточной экономики и сословности в условиях этой эпидемии российские органы власти стали раздавать государственные заказы организациям, находящимся на высших уровнях государственной иерархии, организовывать проекты, в которых только такие организации могли принимать участие. Государственные заказы существенно поддерживали функционирование таких организаций, что было несправедливо по отношению ко многим другим, например к большинству организаций малого бизнеса.

В компенсациях потерь от эпидемии и в мерах приостановки деятельности многих организаций и учреждений органы власти тоже отдавали явный приоритет тем из них, которые находятся на высших уровнях государственной иерархии. Эту поддержку от государства получили именно такие банки, нефтяные и газовые компании, авиаперевозчики, фармацевтические компании и аптечные сети, сетевые супермаркеты и некоторые другие. Государственную поддержку получили организации влиятельные, способные успешно лоббировать

в органах власти свои интересы. Про такие организации прямо написано в соответствующих документах, что они «системообразующие».

При этом организации, находящиеся на низших уровнях государственной иерархии или вообще в нее не входящие, получили только отсрочки по кредитам, выплатам налогов, арендной платы и некоторым другим. Это, например, относится к бизнесу в сферах общественного питания, туризма, физической культуры и спорта, предоставления бытовых услуг населению и др. И примерно также поддержало государство своих граждан: для них только выплата в 10 000 рублей на ребенка была невозвратной, а все остальные финансовые выплаты и льготы нужно будет со временем вернуть банкам. Самозанятые, как и граждане других государств, находящиеся на территории России, не получили никакой поддержки от государства. Иностранцы получили некоторую поддержку своих малых и средних бизнесов, если они являлись именно такими предпринимателями.

Патриархальный принцип принадлежности к соответствующей иерархии применялся и в осуществлении денежных выплат участникам лечения больных коронавирусной инфекцией. Так, водителям машин скорой помощи, которые работали на ставках в медицинских учреждениях, такие выплаты осуществили. Но перед эпидемией в ходе оптимизации здравоохранения органы власти требовали сделать большинство таких водителей работающими в транспортных организациях, предоставляющих услуги скорой помощи медицинским организациям. Так во многих лечебных учреждениях и было сделано. Таким внештатным водителям не были осуществлены выплаты за работы по перевозкам больных коронавирусной инфекцией на скорой помощи. Причина в том, что внештатные водители формально не выполняли государственных функций, и потому раздаток им был не положен. И водители, и медицинские работники такую ситуацию оценивали как несправедливую, т.е. они, в отличие от органов власти, в этой ситуации признавали скорее критерии справедливости гражданского мира и мира рынка, чем мира патриархального.

В осуществлении выплат врачам, медицинским работникам и водителям, участвовавшим в лечении больных коронавирусной инфекцией, были также заметны признаки сословности. В полном соответствии с сословным принципом для противостояния этой эпидемии использовались ранее созданные сословия — военные. Но президентом России была предпринята попытка создать новое сословие врачей и ме-

дицинских работников с новыми привилегиями: дополнительными выплатами, бесплатным проживанием в отелях, бесплатными перевозками транспортом к местам работы и обратно и т.п. Однако это сословие фактически не было создано, потому что был нарушен важный принцип его образования. Служение в сословной системе должно осуществляться строго по иерархии подчиненности, поэтому представители новых сословий должны были служить не непосредственно президенту России или федеральной власти, а властям местным, у которых не всегда были финансовые средства для обеспечения назначенных президентом страны привилегий. Такое сословие было создано из врачей и медицинских работников государственных медицинских учреждений только в тех местах, где таких средств оказалось достаточно, например в Москве. И даже некоторые частные медицинские организации тоже были включены в эту систему, когда они смогли войти в московскую программу перепрофилирования своих лечебных учреждений на лечение от коронавирусной инфекции.

Проблема справедливости в современной России весьма значима для большинства общества, что было еще раз подтверждено проведенными исследованиями. В ситуации эпидемии коронавируса COVID-19 ярче проявились различия между принципами и критериями справедливости, признаваемыми гражданами и органами власти. Граждане менее органов власти привержены принципам и критериям патриархального мира и поддерживают принципы и критерии гражданского мира, чуть меньше — миров рынка, науки и технологий. Высшие должностные лица органов власти в сфере обеспечения справедливости не поддерживают и не развивают эти приоритеты граждан, а стремятся сохранить архаические сословность, раздаточную экономику и профессионально-именной социокод для трансляции соответствующих им смыслов и ценностей.

Литература

Ахиезер А. С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 89–100.

Бессонова О. Э. Институциональное развитие России: переход к контрактному раздатку // Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, вып. 2. С. 21–34. <https://doi.org/10.25205/2542-0429-2018-18-2-21-34>.

Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов / пер. с фр. О.В. Ковеневой; науч. ред. перевода Н.Е. Копосов. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 576 с.

Ковенева О. В. Французская прагматическая социология: от модели «градов» к теории «множественных режимов вовлеченности» // Социологический журнал. 2008. № 1. С. 5–21.

Наумова Е. Социология «градов» Л. Болтански и Л. Тевено и «режимы вовлеченности» в капитализм // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13, № 3. С. 246–251. URL: https://sociologica.hse.ru/data/2014/12/29/1103796350/1SocOb oz_13_3_12_Naumova.pdf (дата обращения: 14.11.2020).

Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995. 140 с.

Петров М. К. Язык, знак, культура / вступит. ст. С.С. Неретиной. 2-е изд., стереотип. М.: Едиториал УРСС, 2004. 328 с.

Римский В. Л. Мечты о справедливости и представления о возможностях их реализации в современной России // Образы будущего России: желаемое — возможное — необходимое: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Москва, 8–9 июня 2016 г. / под общ. ред. А.Б. Ананченко. М., 2016а. С. 128–136. URL: <http://mpgu.su/wp-content/uploads/2016/11/Obrazyi-budushhego.-Sbornik-statey.-E%60lektronnoe-izdanie.pdf> (дата обращения: 14.11.2020).

Римский В. Л. Понимания и практики справедливости в российском обществе // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19–21 октября 2016 года): материалы V Всерос. социол. конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров. М.: Российское общество социологов, 2016б. С. 7720–7729 (DVD ROM).

Римский В. Л. Архаизация политических элит и государственного управления России // Власть и элиты / отв. ред. А.В. Дука. Т. 5. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 150–179.

Римский В. Л. Справедливость от государства: ожидания и реальность // Власть и элиты. 2019. Т. 6, № 2. С. 156–175.

Римский В. Л. Информатизация и российская архаика // Вопросы теоретической экономики. 2020, № 4. С. 71–86. URL: http://questionset.ru/files/arch/2020/2020-N4/Rimsky_VTE_2020_4.pdf (дата обращения: 20.11.2020).

Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 285–313.

Thévenot, Laurent. L'Action au pluriel: Sociologie des régimes d'engagement. P.: Éditions La Découverte, 2006. 311 p.

ARCHAISM IN ENSURING FAIRNESS IN RUSSIA

V. Rimskiy

(vlrim@yandex.ru)

Moscow Psychological and Social University,
Moscow, Russia

Citation: Rimskiy V. Arkhaika v obespechenii spravedlivosti v Rossii [Archaism in ensuring fairness in Russia]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 129–152. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.6>

Abstract. *The article presents the manifestations of archaism in ensuring fairness in modern Russia. The reasons for these manifestations are based on the results of empirical sociological studies of fairness in Russian society, which were carried out in 2019 and 2020. It is shown that the Russian archaism is largely determined by the combined action of a complex of three factors: the dominance of the professional and personal social code of M. K. Petrov, social estate status and distribution economy. At the same time, senior government officials play a leading role in consolidating archaism in social fairness practices. Examples of archaic manifestations in ensuring fairness during the COVID-19 coronavirus epidemic are given.*

Keywords: *fairness, unfairness, archaism, social estates, distribution economy, professional and personal social code.*

References

Akhiezer A.S. Arkhaizatsiya v rossijskom obshhestve kak metodologicheskaya problema [Akhiezer A.S. Archaism in Russian society as a methodological problem]. *Obshhestvennye nauki i sovremennost'* [Social sciences and modernity], 2001, 2, pp. 89–100. (In Russian)

Bessonova O.E. Institucional'noe razvitie Rossii: perehod k kontraktному razdatku [The Institutional Development of Russia: Transition to Contractual Razdatok]. *Mir jekonomiki i upravlenija* [World of Economics and Management]. 2018, 18 (2), pp. 21–34. <https://doi.org/10.25205/2542-0429-2018-18-2-21-34>.

Boltanski L., Thévenot L. *Kritika i obosnovanie spravedlivosti: Ocherki sociologii gradov* [De la justification: Les economies de la grandeur]. Ed. by N.E. Koposov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013. 576 p. (In Russian)

Koveneva O. V. Francuzskaya pragmaticheskaya sociologiya: ot modeli «gradov» k teorii «mnozhestvenny`x rezhimov vovlechyonnosti» [French pragmatic sociology: from the “cities” model to the theory of “multiple modes of engagement”]. *Sotsiologicheskij zhurnal* [Sociological Journal], 2008, 1, pp. 5–21. (In Russian)

Naumova E. Sociologiya «gradov» L. Boltanski i L. Teveno i «rezhimy» вовлеченности» v kapitalizm [Sociology of “grads” by L. Boltanski and L. Thevenot and “modes of involvement” in capitalism]. *Sociologicheskoe obozrenie* [Sociological review], 2014, 13 (3), pp. 246–251. Available at: https://sociologica.hse.ru/data/2014/12/29/1103796350/1SocOboz_13_3_12_Naumova.pdf (accessed: 14.11.2020). (In Russian)

Petrov M.K. *Iskusstvo i nauka. Piraty Egejskogo morya i lichnost'* [Art and Science. Pirates of the Aegean Sea and personality]. Moscow: ROSSPEHN, 1995. 140 p. (In Russian)

Petrov M.K. Yazyk, znak, kul'tura. [Language, sign, culture]. Introductory article by Neretinova S.S. 2nd ed. Moscow: Editorial URSS, 2004. 328 p. (In Russian)

Rimskiy V. L. Mechty` o spravedlivosti i predstavleniya o vozmozhnostyax ix realizacii v sovremennoj Rossii [Dreams of fairness and ideas about the possibilities of their implementation in modern Russia]. In: *Obrazy` budushhego Rossii: zhelaemoe — vozmozhnoe — neobxodimoe. Materialy` Vserossijskoj nauchnoprakticheskoy konferencii*. Moscow, 8–9 iyunya 2016 g. [Images of the future of Russia: desired — possible — necessary. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. Moscow, June 8–9, 2016]. Ed. by A.B. Ananchenko. Moscow: Moscow State Pedagogical University; Institute of History and Politics, 2016a, pp. 128–136. Available at: <http://mpgu.su/wp-content/uploads/2016/11/Obrazyi-budushhego.-Sbornikstatey.-E%60lektronnoe-izdanie.pdf> (accessed: 14.07.2019). (In Russian)

Rimskiy V. L. Ponimaniya i praktiki spravedlivosti v rossijskom obshhestve [Understanding and practice of justice in Russian society]. In: *Sociologiya i obshhestvo: social`noe neravenstvo i social`naya spravedlivost`* (Ekaterinburg, 19–21 oktyabrya 2016 goda) [Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice]. Ed. by V.A. Mansurov. Moscow: Rossijskoe obshhestvo sociologov, 2016b, pp. 7720–7729. (DVD ROM). (In Russian)

Rimskiy V. L. Arxaizaciya politicheskix e`lit i gosudarstvennogo upravleniya Rossii [Archaization of political elite and public administration of Russia]. Power and Elites. Ed. by A. Duka. Vol. 5. St. Petersburg: Intersotsis, 2018, pp. 150–179. (In Russian)

Rimskiy V. L. Spravedlivost` ot gosudarstva: ozhidaniya i real`nost` [Fairness from the state: expectations and reality]. Power and Elites. Ed. by A. Duka, 6 (2), pp. 150–179. (In Russian)

Rimskiy V. L. Informatizaciya i rossijskaya arxaika [Informatization and the Russian archaizm]. *Voprosy` teoreticheskoy e`konomiki* [Questions of Theoretical Economics], 2020, 4, pp. 71–86. Available at: http://questionset.ru/files/arch/2020/2020-N4/Rimsky_VTE_2020_4.pdf (accessed: 20.11.2020). (In Russian)

Thévenot L. Kreativny`e konfiguracii v gumanitarny`x naukax i figuracii social`noj obshhnosti [Creative configurations in humanitarian sciences and social community figurations]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [The New literary review], 2006, 77, pp. 285–313. (In Russian)

Thévenot L. *L'Action au pluriel: Sociologie des régimes d'engagement*. Paris: Éditions La Découverte, 2006. 311 p.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТИ: ОСНОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОРЯДКА

«СИСТЕМНЫЕ» ПОСЛЕДСТВИЯ И ЭФФЕКТЫ СЕТЕВОГО ПРАВЛЕНИЯ

А.И. Соловьев

(alesol@mail.ru)

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия*

Цитирование: Соловьев А.И. «Системные» последствия и эффекты сетевого правления // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 153–175.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.7>

Аннотация. *Раскрываются основания и факторы, предопределяющие внутренний раскол правящего меньшинства на два неравнозначных сегмента. Один из этих сегментов аттестует традиционную политическую элиту, рекрутируемую на основе представительских механизмов и несущую определенную ответственность перед обществом, а второй — неформальные ассоциации, состоящие из политических инвесторов, «оккупирующих» официальные органы власти и принимающих ключевые решения от лица государства. Эти референтные группировки не только снижают функционал официальных институтов и результативность публичной конкуренции, но и порождают особую политическую квазисистему, перераспределяющую общественные ресурсы в пользу аффилированных с нею бенефициаров и насаждающую собственные принципы взаимоотношений государства и общества. Активность этой квазисистемы порождает структурные трансформации в государственном управлении и оказывает негативное влияние на политическую активность граждан и общественные мнение. Демонстрируя наибольшую эффективность своих действий в авторитарных и транзитных государствах, эти квазисистемы сохраняют устойчивость и перспективы дальнейшей эволюции.*

Ключевые слова: *власть, государственное управление, правящее меньшинство, политические элиты, постэлиты, «система».*

В глубинах мировой истории кроются источники возникновения особой, но при этом весьма нетипичной с точки зрения соответствия составу населения группы людей, взявших на себя тяготы и привилегии технологического управления крупными социальными сообществами. Со временем, правящее меньшинство утвердило собственный порядок применения власти, опиравшийся на незыблемость ее политического господства и не зависящий от трансформации государственной архитектуры. Менялись времена, но позиции и основные функции этой властной страты оставались неизменными. Более того, успешность (а равно и неуспешность) развития национальных государств в значительной степени оказалась зависимой от способностей и компетенций правящих кругов, их умения адаптироваться к изменению внешних и внутренних обстоятельств.

В этом смысле и нынешняя эпоха с ее все более явными приоритетами на усиление межгосударственных взаимосвязей, цифровизацию, использование искусственного интеллекта и другие новейшие ориентиры общественного прогресса, преобразующих политический ландшафт современного государства, все также сохраняет стремление правящих кругов к поиску новых методов укрепления своего властного позиционирования. В этом смысле у каждого (отраслевого, регионального, локального и проч.) сегмента правящего меньшинства существуют собственные способы закрепления в истеблишменте национального государства, требующие от них как усиления позиций во внутри элитарной конкуренции, так и эффективного «политического самонаведения» на различные группы населения для использования их мобилизационного и коммуникативного потенциала. И ситуация только усложняется, ибо в этих процессах активное участие принимают не только политические и административные сегменты правящего меньшинства, но и представители бизнес-элиты, собственники и контролеры крупных общественных ресурсов, селебрити и другие соискатели высших позиций.

Коротко говоря, в результате сложного взаимодействия властных группировок друг с другом, а также с сообществом граждан сегодня в государстве складываются две основные тенденции. Там, где ответственность и профессионализм правящих кругов активируют граждан

для участия в управлении и поощряют различные формы конкурентной политики, расширяется область делиберативных форм государственного регулирования, корпоративного гражданства, частно-государственного партнерства, краудсорсинга, межсекторные отношения и т.д. В свою очередь, там, где властные группы дискриминируют граждан и ограничивают свою зависимость от их волеизъявления, увеличивая при этом рентоориентированную активность госадминистраторов, зону коррупции и государственного рейдерства, неизбежно сужается зона публичной политики и правового регулирования экономических отношений, а также разрастаются другие теневые практики.

Как показывает практика, даже эти противоположные по сути тенденции отражают решающую роль правящего меньшинства, которое задает принципы отношений власти и общества, цели и установки проектирования государственных стратегий. И это неслучайно, ибо с принципиальной точки зрения роль правящих кругов в современном государстве не столько ограничивает, сколько показывает принципиальную недостаточность усилий коллективных (массовых) акторов для организации социального порядка, а следовательно, и для вмешательства в большую политику, связанную с распределением ключевых общественных ресурсов. Говоря другими словами, эволюция государства отражает последовательное ограничение и вытеснение активности граждан за пределы крупных управленческих решений и действий (за исключением отдельных вопросов местного или регионального значения). В тех же государствах, где местное управление включено в вертикаль государственной власти, и вовсе можно ставить крест на любых формах «дуальной политики», соучастия в управлении государства и общества.

Важно видеть при этом, что правящие круги больше озабочены вопросами укрепления своего положения (и использования для этого всех инструментов правовой и нормативной стабилизации), нежели роли общества в управлении государством. Более того, правящие круги постоянно изыскивают новые возможности для усиления влияния и снижения возможностей гражданского участия и контроля. Многочисленные эксперименты с изменением электорального законодательства, усилением дисциплинарного давления на общество или ограничением прав населения доказали им необходимость каждый раз отвечать на запросы, требования, предложения и протесты населения. Учитывая понимание властями определенной зависимости своего положения

от позиций и активности граждан, уместно расценивать последние три-четыре столетия не только (а может быть, и не столько) как время укрепления институтов демократии в развитых западных странах, сколько как период интенсивного научения элитарных слоев новым методам и приемам закрепления своего господства.

Этот настрой правящего меньшинства стоит учитывать еще и потому, что элиты хорошо понимают, что, даже используя силовые, административно-правовые и информационно-символические механизмы, в социально диверсифицированном обществе, порождающем локальные центры влияния и частные практики управления, они могут эффективно контролировать только ключевые арены и государственные решения.

Необходимость постоянного подтверждения своего господствующего положения позволили правящим кругам нащупать два возникших практически в одно и то же историческое время высоко эффективных метода своей легитимации. Первый метод касался массированного использования технических средств обработки и распространения информации (СМИ), позволявшего завоевывать необходимый репутационный капитал и тем самым укреплять символическое господство элиты. Почти двухсотлетние эксперименты с использованием массмедиа показали высокую надежность этого инструмента для профилирования общественного мнения и электорального выбора. В этом плане ни свобода слова, ни надежды населения на возможности политического дискурса не смогли пересилить информационные возможности властей, нашедших удобный инструмент для укрепления репутации «народного правительства». Так что сила законодательного регулирования медиарынка в еще большей степени укрепила возможности правящего класса в деле пропагандистского воздействия на массовое сознание граждан. Показательно в этом смысле, что нащупанные властями технологии микротаргетирования медиарынка даже в демократических странах ведут к формированию в обществе политически безвредного и беспомощного плюрализма.

Менее заметным, но, думается, не менее, а даже более перспективным инструментом укрепления позиций правящего класса, является создание «политических машин» [Scott 1969], продемонстрировавших силу замкнутого и дистанцированного от влияния официальной власти пространства локальной власти, выстроенного на активности неформальных (сетевых) сообществ. Появившись еще в 1930-е годы, эти структуры на какое-то время оказались, может быть, и не забытыми,

но в любом случае не востребованными в должной мере. Такое забвение глубоко понятно, поскольку острые геополитические конфликты XX в. связали акценты на самовоспроизводство элитарных слоев с задачами сохранения территориальной целостности и выживания стран и народов. Однако уже в начале 1970-х годов исследования американских ученых выявили решающую роль в производстве государственной политики референтных группировок, использовавших неформальные приемы давления на официальные структуры власти [Richardson, Jordan 1979]. Как показала практика, именно эти механизмы стали прообразом «ответа» правящей элиты на вызовы времени.

Отметим, однако, что источником возвращения к жизни «политических машин» послужила современная стадия развития государства, показавшая подлинный смысл и силу неформальных коалиций правящего класса в ряде государств, практически колонизировавших административные вертикали власти.

На этом фоне не только статусные возможности элиты, но и даже лоббизм, транслировавший интересы бизнес-корпораций и действовавший «в тени иерархии» (Б. Джессоп), оказался слабым конкурентом таких образований. Ибо, строго говоря, практики и технологии лоббизма (хотя и содержащие различные полутеневые и теневые приемы поддержания деловых коммуникаций с принимающими решения лицами) в целом демонстрировали, условно говоря, «боковое» давление на центры власти, аттестуя действия лобби как особого медиатора, в конечном счете ориентированного на органическое встраивание в институциональный дизайн государственной власти. И хотя посреднические акции лоббизма не всегда приводили к нужному результату, демонстрируя ненадежность и ограниченность возможностей заинтересованных групп в продвижении своих интересов, все же в целом этот метод воздействия на органы власти сохранил тренд на использование легальных, «белых» форм взаимодействия с институтами государства, которые дистанцируются от криминальных и теневых методов деятельности. В частности, институты «евролоббизма» хорошо подтверждают эту траекторию. На этом фоне исключением являются лишь структуры «внутреннего» лоббизма, которые органично вписываются в стратегии сетевых сообществ, стремящихся проникнуть в институты власти «изнутри».

По сравнению с лоббизмом главное преимущество сетевых коалиций состояло в том, что они не только формировались особым образом (на основе сближения ресурсно-оснащенных акторов по ценностно-

целевым поводам и вне представительских механизмов), но и атаковали публичные институты, изнутри «прорастая» в структуры власти. При этом (в то время как лоббизм всегда испытывал трудности с методами законодательного контроля) эти ассоциации действовали вне зависимости от любых гражданского, административного, а временами и правового контроля, легко преодолевая любые административные барьеры. И воспрепятствовать их активности могли только другие сетевые коалиции.

Обретая силу и расширяя инструменты своего влияния, сетевые сообщества правящей элиты постепенно переходили от тактики влияния к стратегии оккупации публичных институтов. В тех государствах, где демократические традиции и сила гражданского общества представляли собой существенный фактор общественного развития, сетевое влияние подчиняло себе лишь определенные зоны принятия ключевых государственных решений. В то же время авторитарные политические режимы и целый ряд переходных государств сполна испытали мощь неформальных ассоциаций, контролировавших основные арены формирования государственной политики и механизмы кадрового рекрутинга. Аналогичным инструментом влияния на политику национальных государств становились и транснациональные структуры, атаковавшие конкретных государственных чиновников для навязывания этим государствам необходимые этим силам контракты и международные проекты [Перкинс 2004].

Важным и весьма значимым для сохранения господства правящего меньшинства оказался еще один фактор сетевого проникновения, укрепившего в деятельности публичных институтов патрон-клиентскую этику в ее наиболее разрушительном для профессионального кодекса госслужбы формате. Этот массивный переход к налаживанию деловых коммуникаций «по понятиям» сформировал у госменеджеров устойчивую форму ментальности, в еще большей степени отгородившую их от интересов населения.

В конечном счете сетевые коалиции через промежуточные ступени разложения институтов в ряде государств пришли к поглощению институционального дизайна, взяв под контроль важнейшие зоны формирования государственной политики, но оставив при этом технические и мелкотравчатые вопросы низко позиционированным чиновникам и гражданскому населению.

Поэтому, когда в различных странах раздается критика в адрес государственных институтов, к примеру, в связи с отсутствием с их

стороны адекватных ответов на вызовы времени или на усиливающееся давление населения, только в ряде случаев изъяны государственно-го управления можно объяснить организационными нестыковками или слабым профессионализмом госменеджеров. Эти факторы, безусловно, влияют на институциональный дизайн, демонстрируя определенную ограниченность официальных органов власти. Однако главным источником ослабления роли публичных институтов власти (в ряде случаев полностью перестраивающих их деятельность в форме институциональной коррупции) остаются сетевые коалиции правящего меньшинства.

Но дело не только в том, что сети подрывают возможности публичных институтов как гражданских антрепренеров. В какой-то степени они способны даже повышать гибкость государственного управления, адаптивность и оперативность отдельных органов власти в ответе на вызовы времени. Однако куда более важным следствием их давления на институциональный дизайн становятся изменения в самой морфологии публичной власти.

Так, учитывая сложный и постоянно меняющийся состав участников ключевых государственных решений, высшие центры власти постоянно сталкиваются с проблемой императивной координации, позволяющей им как соединять усилия акторов для поддержки предлагаемого курса государственной политики, так и снижать внутренние конфликты и межинституциональные трения, грозящие увеличением рисков легитимации. В этом смысле сетевые участники «предлагают» государству «оригинальный выход» из этого положения. С одной стороны, при помощи неформальных методов они агрегируют активность определенных статусных фигур и институтов, а с другой — стремятся вынести решение ключевых для государства вопросов за рамки сложившегося институционального дизайна. Такие действия ведут к образованию «второго ядра» государственного управления [Соловьев 2019], а в логическом пределе — к формированию «второго», «глубинного государства», полностью перестраивающего отношения власти и населения.

Другими словами, перемещение проблем, связанных с разработкой ключевых государственных целей, в недоступную не только для гражданских, но и для ряда административных (официальных) акторов зону деловых коммуникаций ограждает основных участников разработки стратегий от давления сил, отвлекающих их от решения принципиальных задач. Тем самым не только качественно снижается политическая роль коллективного актора, но и обесцениваются значение политиче-

ской конкуренции для выработки государственных стратегий, управленческие эффекты публичной политики в целом.

Принципиально важно и то, что процесс внутренних трансформаций государственного управления непосредственно сопряжен и с насыщением сетевыми ассоциациями кадровых структур государства своими «делегатами» во власти. Иначе говоря, сетевая колонизация институтов проявляется и в организационно-кадровых трансформациях. Прежде всего это происходит за счет качественного повышения роли механизмов ротации и кооптации в правящем слое, что позволяет делегатам от сетевых сообществ обходить нормы профессионального отбора и даже игнорировать иерархические зависимости в аппарате управления (не принимая во внимание административную субординацию и сохраняя ответственность лишь перед сетевым сообществом). При этом сетевые делегаты оставляют за собой контроль только за центрами принятия ключевых решений, сокращая тем самым набор классических функций правящей элиты (предполагающих сохранение ответственности перед обществом, способность к продуцированию массовых ценностей и т.д.). В конечном счете все эти кадровые пертурбации показывают, что сетевым сегментам правящего меньшинства, для того чтобы «править», совершенно не нужно ни конкурировать со своими оппонентами в публичной сфере, ни обращаться к обществу за поддержкой предлагаемых планов [Бryan 2016: 29]. Это в итоге неизбежно формирует новый тип *политического размежевания* между государством и обществом.

Постоянство, систематичность и устойчивость сетевого «нашествия» на публичные институты неизбежно ведут к появлению двух сегментов правящего меньшинства, каждый из которых обладает собственными источниками позиционирования в структуре власти. С одной стороны, это, условно говоря, классические сегменты правящей элиты, так или иначе связанные с механизмами представительства гражданских интересов и выполняющие различные функции по поддержанию с обществом публичных коммуникаций. С другой стороны, это сетевые делегаты от деловых сообществ, в основном ориентированные на цели различных неформальных коалиций и не имеющие устойчивых потребностей в установлении связей с гражданскими структурами (тем более в публичных формах). С учетом их особого позиционирования в структурах власти сетевые коалиции можно условно определить как *постэлитарные* слои правящего меньшинства.

Одним словом, сегодня нельзя не видеть, что в каждом государстве существуют эти различные сегменты правящего меньшинства, обладающие, однако, специфическим позиционированием во власти и неидентичным масштабом своего политико-административного влияния. В этом аспекте уместно вспомнить концепцию «двойного морфогенеза» М. Арчер, утверждающую возможность представителей правящего меньшинства не только создавать новые порядки и структуры, но и претерпевать качественные внутренние трансформации [Archer 2000]. И хотя наиболее ярко такие внутренние кливажи правящего меньшинства наиболее заметны в ряде авторитарных и транзитных государств, все же историческая логика показывает, что сегодня в любом государстве существуют собственные возможности для усиления или ослабления силы каждого — элитарного и постэлитарного — игрока в пространстве власти.

Понятно, однако, что усиление влияния каждого из этих сегментов правящих кругов активизирует соответствующие связи и отношения как в лоне государственного управления, так и в сфере коммуникаций государства и общества в целом. Так, укрепление политических и статусных позиций «классической» правящей элиты в логическом пределе ведет к расширению демократических оснований государственной власти и укреплению позиций «политики граждан» (впрочем, с понятными ограничениями для любой политической системы республиканского типа). Иначе говоря, эта тенденция сохраняет определенные возможности для граждан в соучастии, пусть и ограниченном, но тем не менее предполагающем более ответственный стиль управленческой деятельности элитарных слоев (хотя, согласимся, и не всегда заинтересованных в таком сотрудничестве) и побуждение активности и компетенций гражданского населения.

Вторая тенденция демонстрирует себя иначе. К ее наиболее показательным проявлениям можно отнести следующие практики:

— ослабление роли публичных институтов в формировании государственных стратегий, разрастание различных форм подрывных, фиктивных и иных форм «переплетенных» институтов, способствующих вынесению процессов по разработке ключевых государственных решений за пределы вертикали власти и формированию (вместо центров) узлов целеполагания;

— расширение роли теневых, скрытых от общественности арен власти и государственного управления, усиление режима секретности,

неоправданное увеличение привилегий для отдельных лиц (категорий госслужащих) и привилегированных слоев населения;

— осложнение и снижение эффективности механизмов императивной координации институтов власти, отражающих нарастание рисков для административной иерархии и административной субординации;

— увеличение роли патронажных структур и отношений в области кадрового и политического рекрутинга в институтах власти;

— расширение практик избирательного правоприменения и судебных решений;

— качественное снижение зависимости перемещения основных потоков благ и ресурсов от политических требований коллективного актора (его представителей) и активности структур гражданской самодеятельности;

— последовательное усиление информационно-пропагандистских кампаний и интенсивности инициируемой сверху символической политики, что ведет к двум последствиям: усилению роли пропаганды, направленной на укрепление символов ложного соучастия граждан в управлении государством и формирование манипулятивного консенсуса с обществом, а также к микротаргетированию политического рынка и, как следствие, снижению свободы политического выбора у населения.

В итоге даже не преобладания, а усиления второй тенденции в государстве, демонстрирующей увеличение влияния «бестелесных» «хозяев» общества (З. Бауман), неизбежно складывается особая форма взаимоотношений государства (в лице «травмированных» сетевым давлением публичных институтов) и гражданских структур. По сути, это та совокупность связей, структур и отношений, которая не просто оппонирует конституционно закрепленной организации публичной власти и по факту утверждает иной порядок взаимосвязи между правящими кругами и сообществом граждан, но и способна доминировать над официальными органами власти, устанавливая негласную монополию, в том числе в принципиальных политических вопросах [Worsham 2006]. Коротко говоря, это некая квазисистема взаимодействия власти и общества, помещающая во главу угла не конституционные и законодательно установленные принципы и нормы взаимодействия управляющих и управляемых, а стандарты и паттерны фактического доминирования акторов, контролирующих основные центры распределения общественных благ и ресурсов.

Фактическое превосходство основных сетевых «инвесторов политического капитала» (И. Мирошниченко), контролирующих узлы и центры принятия ключевых государственных решений (и тем самым влияющих на определение фактических целей и приоритетов государственного управления от лица государства), в конечном счете формирует скрытый от общественности кластер деловых отношений, опосредующих распределение ключевых благ и ресурсов. Таким образом, в рамках действующей политической системы формируется квазисистема, или новая «система» отправления государственной власти, заключающаяся не только в иных принципах политико-административного доминирования правящего меньшинства, но и в нормах отношений государства и общества в целом.

В своей развитой форме эта новообразованная «система» не только формирует некий континуитет с прежними сетевыми коммуникациями референтных группировок и институтов, но и превращается в своеобразный эпицентр государственной власти, в то ядро власти и государственного управления, участники которого практически не ограничены в достижении своих целей и замыслов и при этом защищены от правового и гражданского контроля.

Содержательно данная «система» демонстрирует наличие построенного на принципах сетевой координации принятия ключевых государственных решений кластера деловых отношений, обуславливающего непрозрачное распределение и перераспределение ключевых общественных благ и ресурсов (но при этом оставляющего, в силу незаинтересованности его участников в незначительных по объему ресурсах, «островки свободы» для формальных институтов и структур гражданского самоуправления). Олицетворяя закрытый от общества процесс целеполагания (информационно защищая как лиц, принимающих решения, так и аффилированных с ними бенефициаров), «система» не только защищена от ограничивающих активность ее фигур правовых и этических инструментов, но и использует их для противодействия своим конкурентам. Под давлением обстоятельств и внутри-сетевой конкуренции «системы» могут увеличивать или сокращать свой объем, но при этом они никогда не исчезают из пространства принятия ключевых государственных решений, будучи универсальным явлением современной архитектуры государственной власти и управления.

Говоря метафорически, такая «система» правления имеет «два сердца»: первое неразрывно связано с воспроизводством действующего

политического режима, а второе — с сохранением механизма принятия ключевых государственных решений. «Первое сердце» отражает усилия правящих кругов по минимизации всех форм общественного контроля, а также экранированию претензий партийных и иных групп и институтов на контроль за высшими центрами власти. В этом смысле риски «стенокардии» — это угрозы для всего правящего класса, всех его сегментов и корпусов, контролирующих как сетевой ландшафт государственного управления, так и публичные институты. Опасности для «второго сердца» — это неприемлемые угрозы основным сетевым сообществам, как закоперщикам стратегических целей (влияющих на траектории развития государства и общества), так и для аффилированных с ними бенефициаров. В этом аспекте доминирующие (монопольные) сети защищают себя не столько от общества и закона, сколько от сетевых конкурентов, претендующих на их позиции и ресурсы.

Очевидно, что решение этих двух принципиальных задач по-разному решается в отдельных политических системах. Так, помимо универсальных методов самосохранения правящих режимов в авторитарных и модернизирующихся странах, стабилизация «системы» и обеспечение первенства конкретных сетевых коалиций последовательно укрепляется за счет точечных изменений законодательства и постепенной институализации скрытых от общества деловых коммуникаций на вершинах власти. Причем укрепление базового принципа «системы» «для своих — всё, для врагов — закон» неизбежно сопровождается пропагандистским прикрытием такой управленческой деятельности, поддерживающим в массовом сознании символы «национальной демократии». Это помогает легализовать в общественном мнении фактическую конфигурацию распределительных процессов и политического порядка, где суверенитет общества сохраняет номинальный характер. Так, в России, по мнению ряда аналитиков, влияние неформального давления на правовую и судебную систему достигло такого уровня, что невозможно добиться «наказания даже для мелких функционеров» [Иноземцев 2012: 107].

По понятным причинам в демократических странах ситуация иная. Но и там латентные игроки и завуалированные бенефициары проводят (конечно, более тонко организованную) политику и по сохранению политического порядка (который не могут изменить отставки правительства и даже выборы), и по регулированию межсетевой конкуренции (демонстрирующей преимущества тех или иных «победителей» в полу-

чении дополнительных благ и ресурсов). Однако в любом случае следует иметь в виду, что основанием устойчивости сетевой активности и «системы» в целом является латентный характер деловых коммуникаций, который может частично совпадать с целями правящего режима (сохраняющего возможности для активности собственно элитарных слоев), а может и существенно отдаляться от его конструкций, всего лишь прикрываясь официальными символами и лейблами государственных институтов.

Принципиальная роль обозначенных выше задач, решаемых сетевыми игроками и переплетенными институтами, порождает изучение «системных» форм отправления государственной власти при помощи различных концептов и подходов. Так, приоритет первой проблемы выводит на первый план модели клиентелизма, нео- и патриоманиальных режимов, а также теоретические схемы, либо ставящие во главу угла связи лидера со своими последователями, либо с учетом корпоративистских поползновений на власть со стороны различных предпринимательских (а также партийных, административных, профессиональных, религиозных и прочих) сообществ [Розов 2016: 139–156]. Нередко используются и концепты автократии и нелиберальной демократии, раскрывающие механизмы и методы сохранения государственного контроля над непрозрачной экономикой и в то же время создающие у значительной части общества иллюзию политической нормальности, блокирующей волю людей к сопротивлению [Zakaria 1997: 101–106].

Акценты, сделанные на политико-управленческие аспекты «системной» активности, отдают преимущество теоретическим подходам, раскрывающим роль сетевых отношений [Hecló 1978; Knoke, Kuklinski 1982]. «Системные» схемы управления рассматриваются и через призму суммарной оценки предсовременных способов организации государственного администрирования, описание той «головоломки управления», которая основана на порочной зависимости правителя от неформальных рычагов воздействия [Ledeneva 2013: 3, 12].

Понятно, что все эти концепты дают немало возможностей для описания «системы». К примеру, концепт «режимов» в данном случае обладает двумя конструктивными послылками для теоретического описания этих квазиобразований. В частности, он позволяет отразить их устойчивость, создающую «эффект колеи» (patch dependence effect) для всех прямо или косвенно вовлеченных в решение ключевых задач общественного развития, а также вовлеченность в механизмы отправления власти ограниченных сегментов правящего меньшинства. В свою

очередь, клиентелизм демонстрирует еще и трансформацию внутренних связей внутри этой властной конфигурации.

Думается, однако, что при все богатстве и своей эвристической мощи подобные подходы оставляют немало теоретических возможностей для аналитического дополнения «системного» правления. И это неудивительно, ибо «системные» основания таких конструкций власти представляются нам более глубокими хотя бы потому, что неформальные коммуникации (с учетом их антропологических субстанций) являются наиболее глубоким основанием социальных связей, преобладающих над функционально-ролевыми нагрузками человека. Более того, именно такого рода связи способны трансформировать *личные* интересы человека, действующего в рамках тех или иных нормативных предписаний. Поэтому вхождение в контролирующей принятие решений «клуб избранных» (и тем более их действия) трудно объяснить только отношениями лидера со своими последователями или принадлежностью этих фигур к каким-то социальным, этническим или профессиональным группировкам. В любом случае, когда такие группировки формируются по служебным и даже примордиальным основаниям, все они сохраняют уязвимость по отношению к неформальному давлению.

Неформальные контакты особенно «влиятельны», когда опосредуют связи ресурсно оснащенных игроков. И это еще один дополнительный факт в пользу того, что целый ряд администраторов (отдельных институтов) не имеет шансов на включение в состав распорядителей крупных общественных благ. Так что с точки зрения ресурсных оснований сетевых коалиций более точным было бы говорить о том, что (как более полувека назад констатировал А. Арон) каждая доминирующая конструкция власти опирается на ту или иную форму олигархической поддержки.

Как бы то ни было, но высокое (а подчас решающее) значение расположенности человека к актуализации или образованию неформальных связей делает госменеджеров исключительно чуткими к соответствующим методам давления на всех этажах власти управления, в том числе на вершинах власти. История знает массу примеров, когда даже в окружении лидера появляются различные перебежчики и «предатели», ставящие под удар, а подчас и разрушающие его команду.

Одним словом, источниками образования «системных» связей в теле государственной власти и управления можно признать и чуткость гос-

менеджеров к неформальным коммуникациям (преобладающим над нормативными предписаниями), и наличие мощных сетевых коалиций (контролирующих значительные общественные ресурсы и обладающие более высокой, нежели госменеджеры, мотивацией в решении актуальных задач), и трансформацию кадрового состава правящих элит. И если, например, патримониальные режимы апеллируют ко всему пространству власти и управления (что требует учитывать характер отношений государства с обществом и наличие определенных каналов и ограничений для такого рода коммуникаций), то «система» сосредоточивает энергию своих акторов лишь на ядерной структуре власти — на процессе принятия ключевых государственных решений. И именно в этой зоне наиболее влиятельные «политические тяжеловесы» формируют те конструкции власти, которые связаны с решением практических задач и обеспечением собственной безопасности. При этом выстраивание отношений государства с обществом делегируется нижестоящим (и административным, и политическим) игрокам, сохраняя за «системой» лишь самые общие функции контроля за стабилизацией социального порядка.

Сказанное показывает, что «система» как производная, порожденная в зоне принятия ключевых решений конструкция власти может по-разному отражаться в политике правящего режима и тем более в его структурных очертаниях. Коротко говоря, «системная» архитектура, будучи жестко не привязанной к деятельности институтов, обладает более изощренной и асимметричной политико-административной конфигурацией, нежели режимы правления.

Конечно, в данном смысле надо признать, что наличие «системы» создает для государства не только риски снижения эффективности институтов и общегражданского профиля их деятельности. Дополнительные угрозы и опасности возникают еще и по причине открытости узлов решений для транснациональных и глобальных игроков. Последнее, так же как и национальные группировки, будучи ориентированными на силу своего ресурсного давления, могут преследовать интересы, способные нанести ущерб целям государства на международной арене и даже нарушить его территориальную целостность.

Впрочем, основные последствия функционирования «системы» все же касаются национальных площадок власти и управления, поскольку, как показывает практический опыт, ее активность не только направлена на воспроизводство отношений, опоясывающих арену принятия

ключевых государственных решений. Представляется, что самые пагубные последствия ее существования заключены в том, что она демонстрирует и даже навязывает всем участникам деловых отношений свойственные ей образцы обретения ресурсов, пути и методы действия¹.

Иначе говоря, «система», содержание которой заключено в наборе определенных паттернов, складывающихся в латентной сфере деловых отношений, неизбежно распространяет свои успешные и потому наиболее «перспективные» для данного государства писанные и неписанные нормы, стремясь подчинить им как все аппаратные структуры государственного управления, так и предпринимательское сообщество. Соответствующим образом она пытается воздействовать и на типичные формы поведения и мышления людей, занятых в различных сферах общественной деятельности. Одним словом, «система» производит тот внутренний демонстрационный эффект, который начинает конкурировать с нормативными и морально оправданными обществом принципами государственного управления и взаимодействия общества с государством.

В зависимости от степени своего влияния на иные арены и площадки государства «система» может провоцировать как структурные последствия (для аппаратов центрального, регионального и местного управления), так и различные (морально-этические, психологические или культурные) резонансы в общественном мнении, идентификационных моделях населения, сознании поколений. Впрочем, отклик населения на эти примеры успешного функционирования в «системе» управления обладает разной эффективностью.

Так, для госменеджеров (а также представителей локальных управленческих центров) и «деловых» партнеров государства притягательность этих норм обусловлена пониманием успешности их применения при продвижении конкретных проектов. Наиболее типичные паттерны, демонстрирующие эффективность «системных» принципов, отражают трансформацию власти в собственность и собственности во власть,

¹ В ряде случаев такие паттерны ограничивают даже применение определенных лингвосемантических конструкций. Например, в некоторых странах центральные власти практикуют «заговор молчания» против отдельных оппозиционеров, которых нельзя упоминать по имени и о которых не следует говорить вслух (приблизительно как в повести о Гарри Потере, где о пресловутом темном волшебнике Волондеморе, чье имя было всем известно, под страхом его появления, т.е. применения санкций, никогда вслух не говорили, и имя его не оглашалось).

образцы институциональной коррупции (со всем перечнем присущих им процедур дарообмена — «распилем» бюджетных средств, «откатами», «заносами» и т.д.), проявлений попечительской власти при поддержке конкретных проектов («крышевания»), ухода от ответственности и т.д.

С учетом активности отраслевых и территориальных элит, связанных с официальными центрами власти, нормы и принципы таких взаимодействий транслируются на региональные и ведомственные площадки. Поскольку на этих ярусах государственного управления и принятия региональных (отраслевых) решений также складываются собственные сетевые конструкции, то естественным образом, *de facto* существующие нормы распределения ресурсов, за которым стоят более масштабные возможности, становятся для участников этих процессов весьма перспективными и привлекательными.

Стремление территориально-отраслевых элит освоить предлагаемую стилистику управленческих взаимоотношений формирует, условно говоря, некую *полупериферию* «системы», опоясывающую кластер государственных решений общенационального масштаба. Объем этой полупериферии и ее способность влиять на центральную зону принятия решений определяется конкретными условиями и стратегиями (ресурсами) региональных и отраслевых акторов, а также заинтересованностью ключевых игроков во встраивании их «делегатов» в доминирующие сетевые коалиции. Однако надо иметь в виду, что заинтересованность регионально-отраслевых игроков в освоении и применении «системных» стандартов отнюдь не означает их допуска к ключевым коммуникациям в принятии ключевых государственных решений. Допуск новых участников «системы» поверяется не только их приверженностью к нормам ее деловых отношений, но и наличием у них ресурсной базы, а также заинтересованностью центральных «системных» игроков в привлечении новых рекрутов.

Одновременно «системные» отношения в зоне полупериферии так или иначе сталкиваются с влиянием местных, региональных коалиций, а также с деятельностью органов власти, которые привержены официальным нормам и формальным регуляторам, обусловленным вертикалью власти. Ослабляет активность «системы» по отношению к полупериферии и то, что часть ее ресурсов уходит на совершенствование правил «доступа» и контроль за инвестициями.

На более низких уровнях, например местного самоуправления, нормы «системы» сталкиваются с активностью игроков, практикующих

различные формы участия в рамках структур самоуправления и самоорганизации. Неслучайно ряда теоретиков подчеркивает, что в современной России «неформальные связи внутри элит за последние годы настолько распространились, что под их “защитой” находятся сейчас миллионы людей» [Иноземцев 2012: 106]. Однако масштабность такого расширения «системных» норм в периферийной зоне деловых коммуникаций не соответствует их столь же эффективному усвоению. Во многом по той причине, что им противостоят множественные частные управленческие практики [Héritier, Lehmkuhl 2008; Streeck, Schmitter 1985], демонстрирующие решимость утвердить и диссеминировать собственные подходы к деловым отношениям и их нормативным требованиям. Так что «периферия» «системы», как правило, в еще большей степени обладает размытым характером и постоянно оказывается в оппозиции к нормам «системы» и ее основным подходам.

В то же время для более широкой социальной аудитории весомость «системных» норм и принципов символизирует прежде всего потребность людей в адаптации к складывающимся доминирующим порядкам. В итоге за счет этих внутренних *демонстрационных эффектов* ПГР оказывается способным воздействовать на социальные и политические порядки в государстве, изменять общественные связи и отношения. В данном случае прежде всего «системные» принципы подрывают статус официальных норм (включая принципы равенства граждан, приоритета права, соблюдения социальной справедливости и др.), в конечном счете утверждая не столько незыблемые приоритеты личного над общественным, сколько интересы «верхов» над всеми иными структурами и социальными акторами. Под угрозой «неминуемых» санкций за нарушения неписанных правил меняются ролевые установки людей, осуществляющих профессиональную деятельность. Причем особенно жестко «системные» ограничения действуют на тех площадках, где людям приходится выполнять политически значимые функции (например, участвовать в избирательных комиссиях и под угрозой санкций фальсифицировать итоги выборов).

Причем наиболее распространенной формой поощрения за проявленную лояльность на этих политических площадках государства являются даже не дополнительные материальные ресурсы, а отсутствие наказаний (предполагающих сохранение людьми своей работы, мест проживания, свободы, здоровья, а подчас даже жизни). В целом такая тактика «системы» и «режимных» носителей ее интересов направлена

не столько на борьбу с протестами или оппозицией (поскольку даже смена правительства или отставка каких-то политических фигур могут совершенно не касаться изменений в межсетевой конфигурации власти), сколько на сохранение в обществе определенного уровня стабильности (как известно, бизнес любит тишину), умиротворения и гражданской пассивности и т.д. В рамках этой задачи «система» не препятствует даже некоему снижению централизации и повышению роли гетерархии в государственном управлении, увеличению уровня самоорганизации граждан и умеренных демократических свобод, медиаактивности несогласных и т.д. Так что, снижая напряженность в зоне ответственности правящего режима, «система» увеличивает устойчивость своего правления (так как такие акции не в состоянии ни увеличить контроль за зоной принятия ключевых решений, ни заморозить каналы неформального влияния на публичные институты).

Конечно, такая политика загоняет определенные противоречия вглубь общества, создавая для «системы» отложенные риски. Однако для «системных» бенефициаров важнее непрерывность получения ресурсов в актуальном времени и их вполне устраивает модель «прерывистого равновесия» (когда следует пережить короткий период перенастройки правящего режима ради дальнейшего благополучного функционирования «системы»).

Эволюция «системы» (совместно со всей ее полупериферией и периферией) движется, с одной стороны, по пути расширения своего влияния, а с другой — конкурируя с частными управленческими практиками, которые формируют свои порядки вне зависимости от ее влияния. Первая линия движения разрушает и подрывает институциональный дизайн и ослабляет эффективность гражданского и государственного контроля. Одновременно под ее давлением усиливается податливость госменеджеров, повышается их «служебный рационализм» (состоящий в увеличении бюджетного финансирования и в «откатах») и актуализируются антропологические характеристики их активности (стимулируя человеческую слабость и неустойчивость перед искушениями и давлением, жадной наживы, ревность к более успешным специалистам и т.д.). При этом «сетипобедители», даже вопреки здравому смыслу и просчету шагов в будущем, цепляясь за власть и ведя борьбу за каждый час своего пребывания у «кормила», толкают общество в пропасть стагнации и утраты творческого потенциала. Такие практики неизбежно провоцируют запоздалость реакции «системы» на вызовы времени, сбой в траекториях реформирования

государственного управления. При плотном давлении «системы» общество оказывается не в состоянии инвестировать свои ресурсы в институты и их стратегии. А институты, лишённые общественно-политической подпитки и сохраняющие «обмеление бюрократии», только укореняют эти бесперспективные для общества обстоятельства.

Однако даже эти исторические «перспективы» не могут уничтожить «систему». С её временными депривациями сети справляются за счёт ряда формальных процедур (смены правительств, отставки непопулярных политиков, усиления информационной активности...) и обновления сетевого ландшафта. Особенно если учесть, что смена правительства порой не влияет на состав доминирующих сетей, а сети-конкуренты хотят лишь «перехватить» власть, а не разрушить «систему». Ученые прямо говорят, что в современном российском обществе, несмотря на многочисленные подвижки в правящих кругах, на протяжении десятилетий главные выгоды от отсутствия общепринятых правил «получает верхушка бюрократии и “силовиков”» [Иноземцев 2012:101].

В данных условиях надеяться на возвращение «политики граждан» [Патрушев, Филиппова 2020], осуществление мероприятий подлинно демократического толка, устранение дискриминации граждан в вопросах управления государством в ближайшей исторической перспективе уже не приходится. Следует понимать, что трансформация «системы» может осуществляться лишь под влиянием ключевых игроков в зоне принятия решений. И нанести ей хотя бы временное поражение, заставить отступить, освободив место обществу, можно только в результате внутриэлитарных сражений.

Литература

Господство против власти: российский случай / отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова, М.: РОССПЭН, 2020. 320 с.

Иноземцев В.Л. «Превентивная» демократия. Понятие, предпосылки возникновения, шансы для России // Полис. 2012. № 6. С. 101–111.

Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы / авт. предисл. и ред. рус. изд. Л. Л. Фитуни; пер. М. А. Богомоловой. М.: Pretext, 2005. 319 с.

Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации // Полис. 2016. № 1. С. 139–156.

Соловьев А.И. Политическая повестка правительства или зачем государству общество // Полис. 2019. № 4. С.8–25.

Archer M. Being Human: The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. x, 323 p.

Bryan D.J. A radical idea tamed: the work of Roger Cobb and Charles Elder // Handbook of public policy agenda setting / ed. by N. Zahriadis. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 25–34.

Dowding K. Model or metaphor? A critical review of the policy network approach // *Political Studies*. 1995. Vol. 43, № 1. P. 136–158.

Hecló H. Issue Networks and the Executive Establishment // *The American Political System* / ed. by A. King. Washington, DC: American Enterprise Institute, 1978. P. 87–124.

Héritier A., Lehmkuhl D. The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance // *Journal of Public Policy*. 2008. Vol. 28, № 1. P. 1–17.

Knoke D., Kuklinski J.H. Network analysis. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1982. 96 p.

Ledeneva A.V. Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xvi, 314 p.

Richardson J.J., Jordan A.G. Governing under pressure: the policy process in a post-parliamentary democracy. Oxford: Robertson, 1979. viii+212 p.

Scott J. Corruption, Machine Politics, and Political Change // *The American Political Science Review*. 1969. Vol. 63, № 4. P. 1142–1158.

Streeck W., Schmitter P.C. Community, Market, State-and Associations? The Prospective Contribution of Interest Governance to Social Order // *European Sociological Review*. 1985. Vol. 1, № 2. P. 119–138.

Worsham J. Up in smoke: Mapping subsystem dynamics in tobacco policy // *Policy Studies Journal*. 2006. Vol. 34, № 3. P. 437–452.

Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy // *Foreign Affairs*. 1997. Vol. 76, № 6. P. 101–106.

“SYSTEM” CONSEQUENCES AND EFFECTS OF NETWORK GOVERNANCE

A. Solovyev

(alesol@mail.ru)

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

Citation: Solovyev A. “Sistemnyye” posledstviya i efekty setevogo pravleniya [“System” consequences and effects of network governance]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 153–175. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.7>

Abstract. *The article reveals the reasons and factors that determine the internal split of the ruling minority into two unequal segments. One of these segments certifies the traditional political elite, recruited on the basis of representative mechanisms and bearing a certain responsibility to society, and the second — informal associations consisting of political investors who “occupy” official authorities and make key decisions on behalf of the state. These reference groups not only reduce the functionality of official institutions and the effectiveness of public competition in society, but also create a special political quasi-system that redistributes public resources in favor of its affiliated beneficiaries and imposes its own principles of relations between the state and society. The activity of this quasi-system generates structural transformations in public administration and has a negative impact on the political activity of citizens and public opinion. Demonstrating the greatest effectiveness of their actions in authoritarian and transit States, these quasi-systems maintain stability and prospects for further evolution.*

Keywords: *power, state administration, ruling minority, political elites, post-elites, “system”.*

References

- Archer M. *Being Human: The Problem of Agency*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. x, 323 p.
- Bryan D.J. A radical idea tamed: the work of Roger Cobb and Charles Elder. In: *Handbook of public policy agenda setting*. Ed. by N. Zahriadis. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016, pp. 25–34.
- Dowding K. Model or metaphor? A critical review of the policy network approach. *Political Studies*, 1995, no. 43 (1), pp. 136–158.

Gospodstvo protiv vlasti: rossiyskiy sluchay [Domination against power: the Russian case]. Ed. by S.V. Patrushev, L.Ye. Filippova, Moscow: ROSSPEN, 2020. 320 p. (In Russian)

Hecló H. Issue Networks and the Executive Establishment. In: *The American Political System*. Ed. by A. King. Washington, DC: American Enterprise Institute, 1978, pp. 87–124.

Héritier A., Lehmkuhl D. The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance. *Journal of Public Policy*, 2008, no. 28 (1), pp. 1–17.

Inozemtsev V.L. «Preventivnaya» demokratiya. Ponyatiye, predposylki vozniknoveniya, shansy dlya Rossii [“Preventive” democracy. Concept, prerequisites, chances for Russia]. *Polis*, 2012, no. 6, pp. 101–111. (In Russian)

Knoke D., Kuklinski J.H. *Network analysis*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1982. 96 p.

Ledeneva A.V. *Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xvi, 314 p.

Perkins J. *Ispoved' ekonomicheskogo ubiytsy* [Confessions of an economic hit man]. Moscow: Pretext, 2005. 319 p. (In Russian)

Richardson J.J., Jordan A.G. *Governing under pressure: the policy process in a post-parliamentary democracy*. Oxford: Robertson, 1979. viii+212 p.

Rozov N.S. Neopatrimonialnyye rezhimy: raznoobraziye, dinamika i perspektivy demokratizatsii [Neopatrimonial Regimes: Diversity, Dynamics and Prospects for Democratization]. *Polis*, 2016, no. 1, pp. 139–156. (In Russian)

Scott J. Corruption, Machine Politics, and Political Change. *The American Political Science Review*, 1969, no. 63 (4), pp.1142–1158.

Solov'yev A.I. Politicheskaya povestka pravitel'stva ili zachem gosudarstvu obshchestvo [The political agenda of the government or why the state needs society]. *Polis*, 2019, no. 4, pp. 8–25. (In Russian)

Streeck W., Schmitter P.C. Community, Market, State-and Associations? The Prospective Contribution of Interest Governance to Social Order. *European Sociological Review*, 1985, no. 1 (2), pp. 119–138.

Worsham J. Up in smoke: Mapping subsystem dynamics in tobacco policy. *Policy Studies Journal*, 2006, 34 (3), pp.437–452.

Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy. *Foreign Affairs*, 1997, no. 76 (6), pp. 101–106.

**К ВОПРОСУ ОБ ЭЛИТАРНЫХ ОСНОВАНИЯХ
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЙ**
(критические заметки на книгу: Higley J., Burton M. *Elite
Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder;
New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, 2006. 227 p.)

В.А. Гуторов¹

(gut-50@mail.ru)

Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия

Цитирование: Гуторов В.А. К вопросу об элитарных основаниях либеральных демократий (критические заметки на книгу: Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.) // *Власть и элиты*. 2020. Т. 7, № 2. С. 176–191.

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.8>

Аннотация. *Цель статьи состоит в критической оценке и анализе концепции американских политологов Джона Хигли и Майкла Бертона, разработанной в книге, которая посвящена проблемам генезиса, основных этапов эволюции и практическим аспектам политики либеральных элит, играющих ключевую роль в формировании современного мирового политического порядка. Анализ структуры и основных направлений современных политологических исследований отчетливо свидетельствует о том, что проблемы эволюции политических элит по-прежнему рассматриваются учеными в качестве наиболее приоритетных. Сущность позиции Хигли и Бертона состоит в том, что в историческом плане либеральные политические элиты практически всегда формируются до того, как либеральные демократические принципы и практики будут приняты большим числом граждан. Сам комплекс взаимодействия политического поведения и институтов, составляющих либеральную демократию, является в первую очередь результатом творчества элиты, к которому постепенно и медленно присоединяются публичные массы. Консенсусно объединенные*

¹ Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований, проект № 20-011-31349 «Либеральная традиция и ценности в современном мире: основные тенденции трансформации».

элиты формировались нечасто в современной истории, и мало оснований полагать, что они станут менее редкими в нашем новом столетии. Разрозненные элиты, порождающие авторитарные режимы или нелиберальные демократии, исторически были правилом и, вероятно, останутся таковыми. В статье последовательно проводится точка зрения, согласно которой кризис либерализма как ведущей глобальной идеологии и его трансформация на рубеже XX–XXI вв. в направлении авторитарно ориентированных нелиберальных практик, породил в качестве ответной реакции рост интереса к политической философии неомакиавеллизма, одной из главных мишеней которого с середины XX в. были многочисленные мифы, формировавшиеся вокруг идеи демократии на протяжении многих столетий. В этом плане становится вполне понятным и стремление современных специалистов рассматривать макиавеллиевский реализм в его обновленной версии в качестве своеобразной аналитической матрицы, позволяющей заново оценить с научных позиций как многообразные попытки концептуализации власти, сформировавшиеся за последние несколько десятилетий, так и новейшие модели глобального управления.

Ключевые слова: политические элиты, демократия, либерализм, глобальный мировой порядок, неомакиавеллизм, консервативная традиция, политическая власть.

Анализ структуры и основных направлений современных политологических исследований отчетливо свидетельствует о том, что проблемы эволюции политических элит по-прежнему рассматриваются учеными в качестве наиболее приоритетных. Современная Россия в этом плане, конечно, не является исключением. Как отмечают Джон Хигли и Майкл Бертон, «в ходе одного из великих политических изменений двадцатого века идеологически сплоченная элита, которая контролировала Советский Союз почти семь десятилетий, распалась между 1989 и 1991 годами, а в последние дни 1991 года СССР прекратил свое существование. Как и положено такому знаменательному событию, его причины и последствия являются предметом обширной литературы, в которой в качестве движущей силы преимущественно изображается окостенение советской элиты и быстро углубляющиеся трещины внутри нее» [Higley, Burton 2006: 188]. Разумеется, аналитика причин кризиса и трансформации советской элиты рассматривается Хигли и Бертоном в широком контексте современных теоретических дискуссий, посвященных различным аспектам генезиса и основных направлений эволюции и модификаций элитарной политики в различных регионах мира. В этом плане работа американских ученых, безусловно, является «знаковой».

Для подтверждения данного тезиса необходимо, на наш взгляд, воспроизвести несколько наиболее принципиальных авторских позиций, характеризующих историческую и теоретическую платформу анализируемой работы. В работе Хигли и Бертона достаточно подробно характеризуется генетическая и функциональная роль, которую исторически играла либеральная демократия в процессе формирования и сохранения консенсусно объединенной элиты в различных западных странах. При этом ученых интересует прежде всего следующий вопрос: как формируется подобный тип элиты в различных регионах мира и в чем причины его относительной устойчивости?

Авторы признают, что «сама по себе данная связка (или взаимосвязь) отнюдь не является новой. Начиная с Джозефа Шумпетера в 1940-х годах такие социологи и политологи, как Роберт Даль, Джованни Сартори, Сеймур Мартин Липсет, Данкварт Ростоу, Хуан Линц, Альфред Степан, Роберт Патнэм, Ларри Даймонд и многие другие, писали о либеральной демократии или ее близких родственниках, например консолидированной демократии, подчеркивая важность внутренней приспособляемости и безопасности политической элиты. Многие исследователи “третьей волны” перехода к демократии также подчеркивали центральную роль стратегий, выбора и пактов элиты в таких переходах» [Higley, Burton 2006: 2].

Тем не менее широко распространено двойственное мнение об относительной важности элиты для либеральной демократии по сравнению с массовой ее основой. Например, изучая демократизацию *tout court*, С.П. Хантингтон описывает убеждения и действия элит как «наиболее непосредственную и важную объясняющую переменную» для интерпретации волн демократизации, но он перечисляет также двадцать семь дополнительных переменных, которые влияют на причинно-следственные цепочки. Хантингтон утверждает, что «ни одна переменная не является необходимой или достаточной и что каждый случай демократизации имеет уникальное сочетание множества причин» [Higley, Burton 2006: 3]. «Мы утверждаем, — пишут Хигли и Бертон, — что в либеральной демократии элита и масса более разделены и долговременны в плане устойчивости. Политическая элита, члены и фракции которой настроены к взаимоуважительному и сдержанному политическому поведению, всегда формируется *до того*, как либеральные демократические принципы и практики будут приняты любым большим числом граждан. Сам комплекс взаимодействия политического поведения и институтов, составляющих либеральную демократию, является в первую очередь

результатом творчества элиты, к которому постепенно и медленно присоединяются публичные массы. Это, конечно, тавтология: если элиты предпочитают практиковать либерально-демократическую политику, то либерально-демократическая политика будет практиковаться. Но известно, что элиты редко делают такой выбор. Консенсусно объединенные элиты формировались нечасто в современной истории, и мало оснований полагать, что они станут менее редкими в нашем новом столетии. *Разрозненные элиты*, порождающие авторитарные режимы или нелиберальные демократии, исторически были правилом и, вероятно, останутся таковыми. Сравнительно мало изучено, как возникает внутренне приспособляемая и безопасная политическая элита и почему она сохраняется. Отражая непреходящее влияние традиционной демократической мысли, элита, благоприятная для либеральной демократии, обычно рассматривалась как постепенный продукт социально-экономической модернизации, в результате которой демократические убеждения и ценности распространяются среди граждан и создаются все более активное гражданское общество и демократическая политическая культура. Считалось, что элитарное измерение либеральной демократии вытекает из ее массового измерения или неразрывно связано с ним. Мы, напротив, утверждаем, что в современной истории консенсусно объединенные элиты и, следовательно, либеральные демократии возникли всего тремя способами и при трех обстоятельствах» [Higley, Burton 2006: 3–4].

В плане сложившихся современных стереотипов все обозначенные учеными три обстоятельства выглядят не вполне привычными:

1. *Урегулирование* основных споров между враждующими элитами, которое является преднамеренным и внезапным и зависит от весьма условных обстоятельств и выбора элиты.

2. *Колониальные возможности* для местных элит проводить осторожную и ограниченную репрезентативную политику в течение длительных периодов самоуправления, а также руководить политически сложными движениями за национальную независимость.

3. *Конвергенции* в сторону общих норм политического поведения разрозненных элит, борющихся за поддержку среди экономически процветающих электоратов [Higley, Burton 2006: 4].

По мысли Хигли и Бертона, такие совершенно особые обстоятельства, очевидно, были необходимы, для того чтобы в современный исторический период консенсусные объединенные элиты и стабильные

репрезентативные либеральные олигархии и либеральные демократии возникли из чрезвычайно широко распространенной практики колониального правления. В основном эти обстоятельства были ограничены некоторыми британскими колониями, после того как английская политика была «приручена» и элиты применили аккомодационные методы в «водораздельных поселениях» образца 1689 г. «При нашем прочтении исторических данных относительно основ либеральной демократии английское поселение было стержневым политическим событием в новейшей истории. То, что это произошло в государстве Англия с Британией в качестве ядра, которое на протяжении продолжительного периода доминировало над значительной частью мира, имело огромные последствия в плане того, насколько мир политически эволюционировал в течение следующих трех столетий» [Higley, Burton 2006: 134–135].

Об этом свидетельствуют, в частности, аналогичные современные элитарные эксперименты, возникавшие при попытках спонтанного, нередко неосознанного до конца «творческого переосмысления» традиций британского «просвещенного колониализма». Например, во второй половине XX в. такого рода эксперименты были весьма популярны на территориях бывшей французской колониальной империи: «Как и сама Франция периода Пятой республики, которую Шарль де Голль основал в 1960 году, эти и несколько других бывших французских колоний создали президентские монархии, в которых разделение власти между новыми независимыми элитами не было широким, а представительный характер политики был незначительным. В лучшем случае можно говорить о зарождающемся либеральном, но в основном олигархическом режиме. Опасность заключалась в том, что, когда президентский монарх умирает или иным образом уходит с поста, элитная власть борется за контроль над высшим исполнительным органом. Это то, что в итоге произошло в Тунисе и Кот-д'Ивуаре» [Higley, Burton 2006: 133].

Все мы помним, какой популярностью среди российских политологов в 1990-е годы стали пользоваться неомакиавеллистские трактовки проблем власти, господства и принципов управления сразу после опубликования в посткоммунистической России перевода знаменитых лекций Реймона Арона «Демократия и тоталитаризм». Причины такой популярности были вполне очевидны: стремление осмыслить на уровне теории специфику посткоммунистических транзитов власти в странах Центральной и Восточной Европы, а затем и в самой России тре-

бовало радикальной смены как идеологических, так и научных парадигм. Предпочтение при этом отдавалось преимущественно тем методологиям, в рамках которых осуществлявшаяся под лозунгами демократизации трансформация коммунистической олигархии в посткоммунистическую могла быть осмыслена на уровне «респектабельного понимания» основных тенденций современного мирового политического процесса, имманентно порождавших в условиях глобализации всеобщий кризис демократических институтов и традиций. В этом плане российским ученым не мог не импонировать, например, неомакиавеллистский взгляд на современные демократии, который Р. Арон вполне разделял: «Так называемые демократические режимы, как объясняют макиавеллисты, на деле не что иное, как олигархии особого рода — плутократические. Владельцы средств производства прямо или косвенно влияют на тех, кто вершит государственными делами. Итак, очевидный, принимаемый и макиавеллистами факт: *режим, который в каком-либо смысле не был бы олигархическим, немыслим*. Сама сущность политики такова, что решения принимаются для всего общества, но не им самим в целом. Решения и не могут приниматься сразу всеми. Народовластие не означает, что вся масса граждан непосредственно принимает решения о государственных финансах или внешней политике. Нелепо сопоставлять современные демократии с идеальными представлениями о неосуществимом режиме, при котором народ правит сам собой. Зато полезно сравнить существующие режимы с возможными. Это в равной мере относится к критике режимов советского типа с позиций макиавеллистов» [Арон 1993: 108–109].

В наши дни становится все более очевидным, что одной из главных мишеней политической философии неомакиавеллизма были многочисленные мифы, формировавшиеся вокруг идеи демократии на протяжении многих столетий. Так, по мнению Д. Крамера и Д. Олстеда, мифологическая оболочка демократических институтов сама по себе является свидетельством преобладания авторитарных стереотипов в общественном сознании и психологии. Следовательно, «современная демократия — это есть, по сути дела, попытка обуздать авторитаризм в области политики» [Крамер, Олстед 2002: 26]. Такого рода попытка вряд ли может быть реализована исключительно с помощью механизмов рационального убеждения с опорой на правовые институты.

Не следует, однако, забывать, что концепция Р. Арона изначально вписывалась в логику классической консервативной политической философии, вполне сформировавшейся уже к середине XIX в.: «Власть

есть власть, как действительно говорил Токвиль: не имеет значения, находится ли она в руках одного человека, клики или всего народа. Она все равно остается властью и поэтому является репрессивной. Именно на этой изначально сформулированной Берком позиции, нашедшей немедленный отклик у де Местра и Бональда, возникает консервативный взгляд на природу народного правительства как на потенциально деспотическую. Соблазнительная мысль о том, что расширение базы власти автоматически означает уменьшение ее использования, поскольку народ де не способен тиранизировать сам себя, приведет, напротив, как утверждали консерваторы, к новой форме деспотизма, при котором весь народ или простое его большинство могут навязывать свою тираническую волю меньшинствам, творческим элитам и другим меньшим по объему общественным объединениям человеческих существ. Консерватор высмеивает руссоистско-якобинский взгляд на свободу, когда пишет: каждое утро гражданин, бреясь, будет глядеться в зеркало и видеть в своем лице одну десятиmillionную часть тирана и целиком раба» [Nisbet 1988: 47–48].

Спонтанно возникшая в начале XXI в. дискуссия о нелиберальной демократии особенно показательна в плане поразительной устойчивости консервативной социальной критики. Как отмечал, например, Р. Саква, «в недавней статье Фарид Закария имплицитно стал поддерживать точку зрения Реймона Арона относительно того, что концепция “конституционного плюрализма” во многих случаях более корректна, чем формула “либеральной демократии”. Закария устанавливает различие между *либеральной демократией*, определяемой как “политическая система, для которой характерны не только свободные и честные выборы, но и правовое государство, разделение властей и защита основополагающих свобод — слова, собраний, религии и собственности” (такую систему он называет конституционным либерализмом) и нелиберальной демократией. В последней “демократически избранные режимы (часто такие, которые были переизбраны и утвердили себя через референдумы) рутинно игнорируют конституционные ограничения своей власти и лишают своих граждан основных прав и свобод”. Для Закарии регулярная постановка относительно честных, соревновательных, многопартийных выборов может сделать страну демократической, но она не обеспечит хорошее правление» [Sakwa 2001: 276].

В этот же период некоторые исследователи политической теории Антонио Грамши отмечали, что критика его последователями современного либерального порядка имеет много общего с критикой либе-

рализма в консервативной философии Карла Шмитта. Действительно, Шмитт был ярким критиком либерального универсализма с его претензией на единственную подлинную и легитимную политическую систему. Для него «мир был множеством, а не вселенной, и он был непреклонен в том, что любая попытка навязать одну единственную модель во всем мире будет иметь ужасные последствия. В концепции политического он резко критиковал то, как либералы использовали понятие “человечества” в качестве идеологического оружия империалистической экспансии, и показал, как гуманитарная этика служит средством экономического империализма. <...> По его мнению, это объясняет, почему войны во имя человечества были особенно бесчеловечными, ибо все средства были хороши, чтобы представить врага “вне закона” человечества. Нынешнее определение границы между другом и врагом как границы между цивилизованным миром и его врагами, несомненно, было бы осуждено им как аватар либеральной риторики. <...> Несмотря на свою решимость, Шмитт был также явно впечатлен способностью американского империализма гарантировать интерпретацию решающих политических стратегических понятий, таких как мир, разоружение, порядок и общественная безопасность» [The International Political Thought of Carl Schmitt 2007: 148–149].

Обозначенные выше тенденции (равно как и специфика их интерпретаций) весьма характерны для неолиберальных порядков на Западе: гегемония элитных групп осуществляется в настоящее время не столько путем апелляции к либеральной традиции как таковой, но скорее при помощи активного использования медийных технологий, непосредственным результатом которых является возникновение ситуации квазилиберального манипулятивного консенсуса. Его сторонники постоянно настаивают на том, что традиционные идеологии исчерпали себя и их скоро сменит новая эра «постидеологии». Эти новые тенденции, несущие явную угрозу либеральной демократии, хорошо проанализированы в работах Энтони Ди Маджо. «Бизнес-группы, — отмечает Ди Маджо, — не контролировали новости открыто, их влияние ощущалось при помощи более тонких инструментов. Фактическая монополизация новостей правительственными чиновниками косвенным образом способствовала интересам бизнеса, так как журналисты, авторы, редакторы и эксперты действовали в рамках политико-экономической системы, которая все более враждебно относилась к организованному труду и повышению минимальной заработной платы, даже

если время от времени такие повышения случайно и происходили. Таким образом, проправительственный уклон перерос в косвенный уклон в пользу бизнеса в общенациональном обсуждении вопроса о минимальной заработной плате. Из-за доминирования правительства в новостях некоторые точки зрения были в значительной степени исключены из обсуждения. <...> Представители бизнеса не доминировали в дискуссиях о Программе социального обеспечения и снижения налогов, но тем не менее гегемонистская предвзятость была очевидна. <...> Из-за правого дрейфа американской политики именно снижение налогов стало приоритетным направлением, а не расширение государственных услуг за счет увеличения налоговых поступлений и расходов. Эта тенденция предполагает, что гегемонистское мышление, благоволящее интересам богатых в отношении снижения налогов, все в большей степени стимулирует политический дискурс. <...> Позиция журналистов соответствовала мнению политических чиновников в том, что общественность вообще не должна быть замечена или услышана в дебатах о государственной политике. Общественность участвует в выборах на основе коллективного присутствия, но в обсуждении политики ее вклад сведен до минимума. Эта чрезвычайно ограниченная концепция “демократии” (если можно так ее назвать) рассматривает общественность как пассивную силу, управляемую политическими элитами. <...> Неужели гегемонистский уклон в новостях означает, что публика последовательно становилась жертвой мнения элит и бизнеса, а согласие масс просто фабриковалось? Я вижу мало доказательств этому. Разумеется, зачастую общественность склоняют с помощью индоктринации к поддержке позиций бизнеса, что всегда благоприятствует интересам богатых. Американцы могут быть классифицированы в качестве “полуавтономных” по отношению к партийной политической системе. Иногда послания политических чиновников в новостях оказывали значительное влияние на общественное мнение. В других случаях общественность не одобряла эти послания, если они не соответствовали их собственным предпочтениям и интересам. Общественное неприятие официальных повесток дня чаще встречается в отношении вопросов, по которым граждане обладают значительными предварительными знаниями и опытом, как показывают примеры реформ в области социального обеспечения и медицинской помощи» [DiMaggio 2017: 60, 88–90, 229–230].

Следует также отметить, что еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов — периода, когда пропагандируемые Френсисом Фукуямой мифы

о «конце истории» и «глобальном триумфе» либерализма достигли своего апогея, Аллан Блум, характеризуя общий контекст работы Фукуямы «Конец истории?», первоначально опубликованной в качестве эссе в «Национальных интересах», т.е. за три года до выхода в свет его знаменитой одноименной работы, предельно резко высказал свой глубокий скепсис относительно конечных перспектив либеральной демократии: «Либерализм победил, но он может быть решительно неудовлетворительным. Коммунизм был безумным продолжением либерального рационализма, и все видели, что он не работает и нежелателен. Хотя фашизм был побежден на поле битвы, его темные возможности не были поняты до конца. Если искать альтернативу, то искать ее больше нигде. Я бы предположил, что у фашизма есть будущее, если не Грядущее. Многие из того, о чем говорит Фукуяма, указывает в этом направлении. И факты тоже. Африканские и ближневосточные народы, которые по какой-то причине не достигают успеха в современном мире, испытывают искушение найти смысл и самоутверждение в разновидностях мракобесия. Европейские нации, не находящие рациональных объяснений для закрытия своих стран от многочисленных иммигрантов, обращаются к своим национальным мифам. Американские левые с энтузиазмом восприняли фашистские аргументы против современности и евроцентризма, вписанные в контекст рационализма. Однако, возможно, именно Фукуяма познакомил прагматиков с необходимостью философии теперь, когда идеология мертва или умирает, для тех, кто хочет интерпретировать нашу изменившуюся ситуацию» [Bloom 1989: 21].

В этом плане становится вполне понятным и уже обозначенное выше стремление современных специалистов рассматривать макиавеллиевский реализм в его обновленной версии в качестве своеобразной аналитической матрицы, позволяющей заново оценить с научных позиций как многообразные попытки концептуализации власти, сформировавшиеся за последние несколько десятилетий, так и новейшие модели глобального управления, характеризующие основные параметры «нового мирового порядка». «Хотя власть и управление, — отмечает Стефано Гудзини в содержательной статье «Амбивалентная “диффузия власти” в глобальном управлении», — неразрывно связаны, есть веские причины воспринимать их концептуально разделенными. Одна из них — это то, что я называю “заблуждением-перегрузкой” (“overload-fallacy”) концептуального анализа власти, показывая, что в конечном итоге концепция власти становится просто громоздкой, когда ученые

пытаются включить все аспекты анализа власти, от личной автономии до ее оснований, мотивов и влияния, от социального господства до безличного правления. Знания о структурной власти недостаточно для понимания структур власти (господства). И попытка объединить эти два понятия бесполезна и не может быть осуществлена без метатеоретических противоречий. Вторая причина больше связана с неявной философской предвзятостью, с которой осуществляется анализ, если при этом не проводится различие между властью и порядком. Власть вездесуща. Отсюда всего лишь небольшой шаг, чтобы поставить власть в центр понимания политики, а также политического порядка. И это почти самоочевидный шаг для определенных традиций политической теории, которые вдохновляются, но не сводятся к макиавеллистскому повороту в понимании политики, в таких его разновидностях, как политический реализм, марксизм, а также Фуко» [Guzzini 2012: 8].

По мнению Гудзини, чтобы понять, имело ли место распространение власти в глобальном управлении и привело ли это к ослаблению или усилению управления, важно в первую очередь уточнить понимание того, что мы подразумеваем под управлением и каким образом возможно интерпретировать современное значение этого понятия. «Это значение не является ни надуманным, ни очевидным, и, более того, напрямую связано с более широким анализом политики и власти. Дело не в том, что у нас есть “проблема управления”, на которую разные теоретические подходы дают разные ответы; у нас есть разные теоретические подходы, которые придают разное значение управлению и его проблемам. В дальнейшем я предлагаю рассматривать управление в терминах “политического порядка”, где “политический” означает все, что затрагивает “общественные интересы” или “общее благо”. Это более широкое определение по сравнению с определениями, представленными в большинстве подходов. Тем не менее, как показывает обсуждение различных определений, оно прямо или косвенно присутствует во многих из них. Такое относительно не эксклюзивное определение оправдано, если не необходимо при сравнении и обсуждении альтернативных подходов, а не при представлении какого-либо одного из них» [Guzzini 2012: 3].

Обычно отправной точкой для определения управления является то, что этот термин сразу предлагает следующую ключевую дефиницию: «действия, совершаемые правительствами, но выполняемые кем-то другим или комбинацией действующих лиц» [Guzzini 2012: 4]. Данная

дефиниция остается ориентированной на правительство и организует наше мышление вокруг парадигмы (государственного) управления для понимания политического порядка в международном сообществе. Определение управления с точки зрения порядка готовит почву для того, чтобы увидеть проблемные моменты, которые может вызвать распространение власти в международных делах. «Чтобы увидеть эту взаимосвязь, важно с самого начала разделять концептуальную сущность власти и управления. Другими словами, важно видеть, что управление и власть взаимосвязаны. Не менее важно, однако, не пытаться свести одно к другому. Хотя все формы видения порядка подразумевают формы восприятия власти, и наоборот. Порядок не сводится к власти, и наоборот» [Guzzini 2012: 6].

Существовала, продолжает Гудзини, постоянная тенденция объединять эти два понятия или сводить одно к другому. Когда Даль (1961) ответил на вопрос «Кто правит?», он действительно хотел понять тип политического строя — плюралистический или элитарный — в современной демократии. Ответ он получил из анализа власти. «Как сразу заметили критики, этого было недостаточно для объяснения политического порядка в целом. Тем не менее, вместо того чтобы разделять концепции и видеть, как они могут по-разному соотноситься друг с другом, критики также стремились сводить одно к другому и, следовательно, добавляли все больше и больше факторов в концепцию власти. «С помощью сравнительно близкого, хотя и несколько реверсивного подхода Лукс (1974) попытался концептуализировать власть как личную автономию в терминах трех измерений власти, то есть в терминах порядка, понимаемого как структура господства. Этот ход сравним с подходом Даля, потому что, опять же, анализ власти и анализ порядка сводятся друг к другу. Это делается в обратном порядке, поскольку теперь власть используется не для понимания порядка, а для понимания индивидуальной силы (автономии, свободы). Более того, Лукс, как и многие другие, иногда использует термин “власть” для всех этих уровней. Добавляя Фуко в этот резкий спор, Барнет и Дюваль (см.: [Barnett, Duvall 2005: 39–75]) просто следуют этому редукционистскому подходу: <...> глобальное управление — это то, что теперь можно понять с помощью четырех типов власти... А если это не так, то получается, что они оставляют управление в конечном итоге недооцененным, предлагая простую (и известную) типологию концепций власти» [Guzzini 2012: 7–8].

По мнению Гудзини, далеко не случайно, что подход Мишеля Фуко устанавливает теснейшую связь между формами власти (биовласть) и порядком (управляемость). «Но это еще не все, что нужно для политического порядка. В хорошем смысле социальных наук, пытающихся избавиться от нормативных забот политической философии, это может показаться так. Однако уже Карр знал, что чисто реалистический подход невозможен ни к политике в целом, ни к (тогдашнему) “новому международному порядку”, в частности: утопии, мораль или “общее благо” не могли быть сведены к власти, равно как не может к ней сводиться международный порядок. Порядок, безусловно, всегда существует для кого-то, но он также всегда означает что-то, какую-то ценность» [Guzzini 2012: 8].

Возвращаясь в свете этого анализа к проблемам политических элит, следует отметить, что сформировавшийся в последнее десятилетие синтетический методологический комплекс предоставляет новые возможности для объяснения причин, по которым, несмотря на традиционное преобладание либеральных идей и стереотипов в мировом политическом дискурсе, возникающие в современном мире элитные конфигурации, как правило, плохо совместимы с либеральной демократией в идеологическом и политическом плане. Как справедливо полагают Хигли и Бертон, «перспективы либеральной демократии в XXI веке зависят в первую очередь от формирования консенсусно объединенных элит там, где сейчас господствуют разобщенные или идеологически объединенные элиты, и от сохранения консенсусно объединенных элит там, где они сейчас существуют» [Higley, Burton 2006: 181].

Литература

- Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 303 с.
- Краммер Д., Олстед Д. Маски авторитарности. Очерки о гургу. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 408 с.
- Barnett M., Duvall R. Power in International Politics // International Organization. 2005. 59 (1). P. 39–75.
- Bloom A. Responses to Fukuyama // The National Interest. Summer. 1989. P. 19–21.
- DiMaggio A. The Politics of Persuasion: Economic Policy and Media Bias in the Modern Era. Albany: State University of New York Press. 2017. 375 p.
- Guzzini S. The Ambivalent “Diffusion of Power” in Global Governance // The Diffusion of Power in Global Governance: International Political Economy Meets Foucault. St. Guzzini, I. B. Neumann (eds.). L.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 1–37.

Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; N.Y.; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.

Nisbet R. *Conservatism: Dream and Reality*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. 130 p.

Sakwa R. *Liberalism and Post-communism // The Edinburgh Companion to Contemporary Liberalism*. General Editor M. Evans. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. P. 269 –286.

The International Political Thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order. Ed. by L. Odysseos, F. Petito. L.; N.Y.: Routledge, 2007. 266 p.

**ON THE QUESTION OF THE ELITE FOUNDATIONS
OF LIBERAL DEMOCRACIES (critical notes on the book:
Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal
Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford:
Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.)**

V. Gutorov¹

(*gut-50@mail.ru*)

*St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Russia*

Citation: Gutorov V. K voprosu ob elitarnykh osnovaniyakh liberal'nykh demokratiy (kriticheskiye zametki na knigu: Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.) [On the question of the elite foundations of liberal democracies (critical notes on the book: Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.)]. *Vlast' i elity* [Power and Elites], 2020, 7 (2): 176–191. (In Russian)

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2020.7.2.8>

¹ The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research and the Expert Institute for Social Research, project no. 20-011-31349 “Liberal tradition and values in the modern world: the main trends of transformation”.

Abstract. *The purpose of the article is to critically assess and analyze the concept of American political scientists John Higley and Michael Burton, developed in a book that is devoted to the problems of genesis, the main stages of evolution and practical aspects of the politics of liberal elites that play a key role in the formation of the modern world political order. An analysis of the structure and main directions of modern political science studies clearly indicates that the problems of the evolution of political elites are still considered by scientists as the most priority ones. The essence of Higley and Burton's position is that, historically, liberal political elites almost always form before liberal democratic principles and practices are adopted by any large number of citizens. The very complex of interaction of political behavior and institutions that make up liberal democracy is, first of all, the result of the creativity of the elite, to which the public masses are gradually and slowly joining. Consensually united elites have formed infrequently in modern history, and there is little reason to believe they will become less rare in our new century. Scattered elites that spawn authoritarian regimes or illiberal democracies have historically been and are likely to remain the rule. The article consistently holds the point of view according to which the crisis of liberalism as a leading global ideology and its transformation at the turn of the XX–XXI centuries into the direction of authoritarian-oriented neoliberal practices, gave rise as a response to the growth of interest in the political philosophy of neo-Machiavellianism, one of the main targets of which from the middle of the 20th century were numerous myths that formed around the idea of democracy over the centuries. In this regard, it becomes quite understandable and the aspiration of modern specialists to consider Machiavellian realism in its updated version as a kind of analytical matrix that allows to re-evaluate from a scientific standpoint both the various attempts to conceptualize power that have formed over the past few decades, and the latest models of global governance.*

Keywords: *political elites, democracy, liberalism, global world order, neo-Machiavellianism, conservative tradition, political power.*

References

- Aron R. *Demokratija i totalitarizm* [Democracy and Totalitarianism]. Moscow: Text Publ., 1993. 303 p. (In Russian)
- Barnett M., Duvall R. Power in International Politics. *International Organization*, 2005, 59 (1), pp. 39–75.
- Bloom A. Responses to Fukuyama. *The National Interest*, Summer 1989, pp. 19–21.
- DiMaggio A. *The Politics of Persuasion: Economic Policy and Media Bias in the Modern Era*. Albany: State University of New York Press. 2017. 375 p.
- Guzzini S. The Ambivalent “Diffusion of Power” in Global Governance. In: *The Diffusion of Power in Global Governance: International Political Economy Meets Foucault*. St. Guzzini, I. B. Neumann (eds.). London: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 1–37.

Higley J., Burton M. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. 227 p.

Kramer J., Alstad D. *Maski avtoritarnosti. Ocherki o guru* [Masks of Authoritarian Power. The Guru Papers] Moscow: Progress-Tradition, 2002. 408 p. (In Russian)

Nisbet R. *Conservatism: Dream and Reality*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. 130 p.

Sakwa R. Liberalism and Post-communism. In: *The Edinburgh Companion to Contemporary Liberalism*. General Editor M. Evans. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001, pp. 269–286.

The International Political Thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order. Ed. by L. Odysseos, F. Petito. London; New York: Routledge, 2007. 266 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Ачкасов Валерий Алексеевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (val-achkasov@yandex.ru).

Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (gut-50@mail.ru).

Дука Александр Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (alexander-duka@yandex.ru).

Завершинский Константин Федорович, доктор политических наук, профессор кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (zavershinskiy200@mail.ru).

Масловский Михаил Валентинович, доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (maslovski@mail.ru).

Римский Владимир Львович, старший преподаватель Московского психолого-социального университета; ведущий научный сотрудник Фонда ИНДЕМ; ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (vlrim@yandex.ru).

Сафронов Вячеслав Владимирович, старший научный сотрудник сектора социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (vsafironov@list.ru).

Соловьев Александр Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории факультета политологии МГИМО (У) МИД России; заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (alesol@mail.ru).

CONTRIBUTORS

АЧКАСОВ, Valeriy, Dr. of Sc. (Political Sc.), Prof., Head of the Ethno political studies department, St. Petersburg State University, Faculty of Political Science (val-achkasov@yandex.ru).

ДУКА, Aleksandr, Candidate of Sc. (Political Sc.), Head of the Department of Sociology of authority, power structures and civil society, Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg) (alexander-duka@yandex.ru).

ГУТОРОВ, Vladimir, Dr. of Sc. (Philosophy), Professor, Head of the Department of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science, Saint-Petersburg State University, Russia (gut-50@mail.ru).

МАСЛОВСКИЙ, Mihail, Dr. of Sc. (Sociology), Prof., leading researcher of the Department of the History of the Russian Sociology, Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg) (maslovski@mail.ru).

РИМСКИЙ, Vladimir, Senior Lecturer at the Moscow Psychological and Social University; Leading Research Fellow at the INDEM Foundation; Associate Research Fellow at the Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences - a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (vlrim@yandex.ru).

САФРОНОВ, Vyacheslav, senior researcher of the Department of Sociology of authority, power structures and civil society, Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — a branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg) (vsafironov@list.ru).

СОЛОВЬЕВ, Aleksandr, Dr. of Sc. (Political Sc.), Prof., Head of the Political Analysis department, Moscow State University, Faculty of Public administration (alesol@mail.ru).

ЗАВЕРШНСКИЙ, Konstantin, Dr. of Sc. (Political Sc.), Professor of the Department of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science, Saint-Petersburg State University, Russia (zavershinskiy200@mail.ru).

Научное издание

ВЛАСТЬ И ЭЛИТЫ

ТОМ 7

Выпуск 2

Под редакцией А.В. Дуки

Редактор *М.В. Банкович*
Компьютерный макет *Н.И. Пашковской*

Подписано в печать 09.12.2020.
Формат 60×84/16. Усл. п. л. 11,3. Уч.-изд. л. 11.
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ № .

Издательство «Интерсоцис».
190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14.

Отпечатано в типографии «Реноме».
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40